

АЛЕКСАНДР ДАНИЕЛОВ



ПО ОБОИМ БЕРЕГАМ МИУСА

ПОВЕСТЬ

К югу от Тореза. Донбасс. 26 августа 2014

Смушение. Двусмысленность. Остаётся лишь жалеть. Срамота...

В палатке — нестерпимо. Вовсю распалилось обычное для послеполуденной степи удушающее безумство. Сквозь брезент жжёт огненным драконьим дыханием.

— Оксан, у нас ещё есть крем “Траумель”? Я искал, но, видимо, не там. Мне — не прямо уж сию минуточку... но надо найти.

Оксана посмеивается смело, если не нагло, словно уже имеет на Ольхового определённые права. Показывает полностью зубы, крупные, с желтизной у дёсен. Отирая рукавом халата лоб, подносит ему лоток со скальпелями, захватами и заготовленными тампонами.

— Ще е небагато. Ввэчери витдам... Вам з́араз трэба допомага, Микола Богданович? Або сами впо́раетэся?

— Сам управлюсь. Ты б, Оксан, приготовила мне иголку. Вот это — срочно. Скоро шить буду. — На неё Ольховой старается не смотреть, притворствуя: дескать, полностью сосредоточен на ключице пацана, лежащего

ДАНИЕЛОВ Александр Романович родился в 1959 г. Окончил в Москве педагогический университет, а позже — аспирантуру Академии Наук СССР/РФ. Два года после вуза служил офицером в армии. В течение почти 9 лет после защиты диссертации с начала 1990-х выезжал для преподавательской и консультационной работы в США и Западную Европу. Автор многих исследований по проблемам политики, экономики, культуры, опубликованных научными и деловыми изданиями; также выступал в ведущих отечественных/западных СМИ. Первая публикация художественной прозы — рассказа — случилась еще в армейские годы автора. В 2013 г. вышел его роман “Проходит сквозь” в издательстве “Грифон”. Живет в Москве.

на операционном, самодельном столе. Притворствует: ничего такого там нет, чтобы концентрироваться на ране.

Пацан, обозлённый, плюётся матом, но не на врача, а на того, кто полчаса назад раскалённой острой мерзостью пропорол ему над ключицей. Пуля, вероятно, вошла уже ослабевшей в ляжку бронезилета, снайпер бил издали. Чуть затронула кость, но даже не сломала, и осталась в жгуте мышцы. Выковырять такую для полевого хирурга — как свиснуть. На десять минут дел-то, вместе с дезинфекцией и зашивкой разреза.

Ольховой промазывает йодом всё плечо у подбитого перед тем, как резать: — Делать обезболивающее или потерпишь?

В присутствии Оксаны-милашки, которую открыто хочет половина харьковского батальона (с плотоядным придыхом называя её Манюней), сегоднешний пацан, храбрясь, решает обложить и анестезию.

И хорошо, что отказался; новокаин и лидокаин заканчиваются, осталось совсем немного — лишь для самых трудных проникновений.

Кроме Оксаны к батальону прибились и другие женщины — настаивают борщи, режут сало неровными ломтями, кладя его на огурец и всё вместе на квадрат плохо пропечённого хлеба сланцево-серого оттенка. Но лишь на дюжину из десятка прифронтовых муз точат зубы воины. Прежде всего, на своеравную и всегда заливающуюся смехом медсестричку, у которой даже широкий халат еле застёгивается на груди. Лезут к ней по-всякому, несмотря на её пристрастие к высмеиванию любого, пытающегося очаровать прокуренным шахтёрским шармом. Льнут и к давным-давно уехавшей в эту степь от сумгаитской резни, широкобёдрой, уже немолодой, но всё ещё завлекающей своей восточной сладостью, не переборчивой в вечерних симпатиях Тамаре Левоновне — у неё сын воюет южнее, за Раздольным, там линия обороны изменяется каждые три часа, ехать туда — самоубийство, поэтому она ждёт сына здесь, варит в пятиведерном казане для всех острый суп из овечьих потрохов и обрезов гузки.

Когда-то тут были ещё две, почти профессионально умелые, искали спроса. Одна приехала из Черновцов, бессарабка. Звали её не то Стеллой, не то Астрой; ну, то есть, как-то не по-людски. Вторая была с востока, со станции Лубны, уже никто и не помнит её имени. Приехавшие жрицы любви, не найдя лучшей карьеры в мегаполисах, решили здесь, в скопении оторванных от семейных радостей и забывших домашние запахи мужей хотя бы как-то заработать. И просили-то недорого. Но желающих платить им за ночь оказалось немного, всего лишь несколько, из иностранцев, не только давно, но и далеко оторвавшихся от своих домов.

* * *

Подраненного пацана сегодня принесло из разведкоманды. За ним, насколько помнит врач, закрепился какой-то модный, научно-технический позывной — Дивайс. Ещё про него рассказывают, что родом он из соседних мест — из Артёмовска как будто или Часова Яра. До войны слесарил на автосервисе в районном посёлке и портил поселковых девок. А сейчас оказался незаменимым в пластунском ползанье и прожигании куммулятивными гранатами передовой брони нацгвардии (или нациков, нацистов, как по-разному их тут называют). И ещё его ценят за то, что умеет ремонтировать: сам, с пятком подсобников только на прошлой неделе наладил ход им же подбитой БРДМ днепропетровского десанта.

На вид Дивайсу не больше восемнадцати, но заматерелость его и наши-тые ромбики на нагрудном кармане — по числу спалённых машин — говорят об обманчивости курносого детского лица и торчащего пшеничного клока на лбу.

Николай Ольховой старается не смотреть на ассистентку. Стыдится вчерашнего.

Как он ни противился все предыдущие дни, перетекающие в недели и месяцы, её зовущему аромату, манкú ещё молодого, небольшого, истекаю-

шего желанием тела, как ни старался думать о доме, где осталась отчаянно любимая Ильсия, природное в нём всё-таки задавило оставшееся здравомыслие. Он ведь даже стал забывать, какая она, женщина, в прикосновении. Без малого три месяца здесь, в одичавшем донецком раздолье, сделали из него если и не животинку, не представляющую, что такое порядочность, то уж, наверняка не моралиста.

К тому же позавчера-вчера вылакали из хирурга весь запас крепости — на отладку к нему направляли и направляли; он даже запугался в счёте, сколько ранений пропустил через себя. Двадцать шесть? Или сорок шесть? Пришлось и констатировать убыль двоих, которых незачем везли, надеясь на чудо. Одного, из гражданских, дежуривших 24-го числа на ближайшем к Торезу блоке трассы, бритого под ноль пузыря, равного в диаметре что по высоте, что в ширину, убило, по-видимому, ещё там, на месте; раздробило позвоночник. Другому, слишком горбоносому для того, чтобы сойти за местного, в чёрных кудряшках густых волос на голове и спине, осколок от мины, выпущенный отступающими с высоты 277,9 или Саур-Могилы нацгвардейцами попал в печень, разорвав всё в крошево.

В починке остальных, лишь слегка подпорченных, Николай измотался так, что даже не смог озлиться, когда, в который раз, прибежал Ефрем Васильевич Колзин, хорошо упитанный, возрастной зануда из арьергардного взвода охранения — то у него палец в кровь прищемило тугим предохранителем автомата, то просил посмотреть, как стопа распухла от пореза о неведомо где торчавший гвоздь. Вчера же заявился с требованием удалить ему занозу, значительно ниже пуца, которую он схватил от дощатой стенки походного душа, при помывке.

— Я бы и сам её выковырял, — привязался Ефрем Васильевич, — но уж место больно, того, интимное. Боюсь, как бы не повредить там себе. Так ты, Айболит, уж постарайся. Аккуратненько.

Николай даже не посмотрел на место, в которое тыкал несурзанный ополченец.

— Ну, раз аккуратненько, да чтобы не задеть ничего, то буду доставать тебе эту занозу согласно протокола ректального вмешательства.

— Как, говоришь? — не сообразил Колзин, о чём речь.

— Через заднепроходное отверстие! — отвернулся от него хирург, готовясь вырезать по осколку стали из подлокотья и бедра недавно принесённого ему лёгкого солдата, уже лежащего на операционном столе со спущенными спортивными шароварами, сцепившего зубы, чтобы не стонать при Оксане...

И ближе к ночи нывшее тело и мозг потребовали у Николая отдыха. Он не чувствовал уже своим ни то, ни другое. Живот, и так с отрочества втянутый, ещё больше ввалился. По рукам с длинными тонкими пальцами фортепианного солиста вспухли бечёвки артерий.

Помня некогда полученный в ростовском окружном госпитале урок, когда раненых и умирающих везли из чеченского форшмака каждый день, он не стал глотать капсулу-энергетик, не стал бодряжить “коктейль дальнобойщика” — растворимый кофе в разогретой пепси, — а залил в глотку из мерной колбы семьдесят граммов спирта, который пока ещё был в операционной. От загнанности за прошедший день еда в него уже не лезла, поэтому сразу же сплющило, и он поплыл расплавленным воском. Но желаемое облегчение всё же пришло...

В такой полужидкой консистенции его и нашла кроха Оксана. Он не очень-то и помнил, как там оно всё начиналось, что *он* говорил, что *она* ему, просто заметил, что уже какое-то время держит в ладони её податливую правую грудь, и тычется губами в её губы. Оксана не только не противилась, но и тянула на себя. И впопыхах скинула лямки своего комбинезона...

Ну, а потом всё происходило так, как это только и может происходить в колючих пыльных зарослях за медицинской палаткой, под малярийно-белой дуной — неудобно, суетливо, без радости, лишь на поводу у инстинкта.

А теперь Ольховой отворачивается от медсестрички, не умея прямо посмотреть ей в смеющиеся глаза. Играет повышенным вниманием к подраненному Дивайсу.

Узнал об Оксане много, от неё же. Болтлива оказалась... Она здесь управлялась за всю медицину ещё до его приезда. Кое-как, со средним образованием фельдшерицы, перевязывала дырки от пуль и осколков на разных частях тел бойцов Отпора, если дырки были мало значительными для областной и даже торезовской больницы; мазала ожоги, меняла повязки у продырявленных, следила, как идёт заживление. Отпаивала валокордином-диазепамом местных бабулек и нескольких оставшихся дедулек, которым уезжать было некуда и не на что — сердечные приступы теперь случались чаще, по мере ужесточения обстрелов жилья с высот, захваченных армией и сбродом “гвардейцев”.

Приехала сюда в начале апреля, с запада, из житомирского захолустья, как только там бандеры стали врываться в городские и районные управы, унижать милицию и православных батюшек. Боялась и за дочь, и за себя — муж был на плотницких работах в Перми, и все в её райцентре знали, что он этим обстоятельством доволен. Но самым опасным было то, что многие знали и о её деде Лукьяне. Того, никакого не НКВДёнка, а сопливого младшего сержанта, радиста, в середине пятидесятых годов в составе неполного стрелкового полка послали бить бандер УПА по карпатским склонам Франковицины. Теперь бы её деда припомнили, как припоминали всем “зрадникам”, предателям в их понимании, и ближней родне зрадника. Убить, возможно, и не убили бы, но поизмывались бы от души.

Оксана заперла на все три замка свою квартиру в панельной хрущобе и с дочкой поехала на восток — в Донецке жила одинокая мачеха мужа.

— А чога то вы, Мыкола Богдановичу, билиш на російський мови говорьтэ? — спрашивала она в начале лета у Ольхового, ставшего из-за причуд судьбы её непосредственным начальником. — Вы ж украинську знайетэ.

— Знаю. Алэ цэ в мэнэ звичка, мабуть. — Николай сдержанно разглядывал малую, но полномясую, русую дриаду, не в силах задержаться взглядом на бутылочном стекле её глаз. Она с самого же начала стала выказывать присланному хирургу свою недвусмысленную заинтересованность, что Ольхового и смущало, и злило... — Привык, — повторил он. — Я ж бо́льшую часть жизни в России прожил. Все знакомые, и по службе, и по жизни говорили по-русски, жена тоже, недоросль мой — соответственно.

— А скільки вашому хлопчику? — Оксана упорно крутилась, не боясь порезаться, перед самым его носом, таким же тонким и острым, как хирургический ланцет, плескавшийся в кипящем стерилизационном судке в углу палатки.

— Уже четырнадцать минуло.

— А мойий доньци — тильки шість, — непонятно почему взгрустнула тогда, вздыхая. — В вас жинка руська?

— Нет, не русская. Башкирка... А это имеет для тебя значение?

— Та ни, ничбого. То я так... Мэни нация — однаково...

Николай, ещё тогда же как-то не очень удачно попробовал шутить:

— Я смотрю, тут у вас одни лишь Оксаны. Девять на десять девочек.

Помощница заходила тихим смехом, больше похожим на хлопание.

— Дуже тонке наблюденье.

Ольховой тоже слегка подцеплял в ответ:

— Не “наблюденье”, а “спостэрэдження”... Боже ж ты мой, на каком вы все языке говорите! Это ж не украинский, это гоголь-могиль. Я-то думал, что хоть у “западников” язык сохранился... Нет, везде — только суржик. У украинцев центра и востока — украино-русский. У вуйків (и галичан, и вольнян) — украино-польский. В Закарпатье — русско-венгерско-украинский, на Буковине — украино-румынский... — он любопытствующе разглядывал тогда её форму, затаённо вымеривая взглядом ложбину между двумя надутыми полушариями, выпиравшими из ворота низко застёгнутого, не совсем чистого медицинского халата.

Сдобную плюшку Оксану ни тогда, ни позже не интересовывали филологические семинары: “Ну, як говорьмо, так й говорьмо”.

После этого и выстелила понемногу за последующие месяцы Николаю всю свою предыдущую жизнь. Тот же помалкивал, в ответ не спешил де-

литься. Собственно, и условия этому не способствовали — резали и шили без остановки; в первые два месяца большой донецкой войны раненых подвозили для хирургии сутками, перепало и сельским, особенно старикам. Потом постепенно поток стал мелеть: многих стариков или поубивали снаряды из-за полей, или их всё-таки кто-то вывез отсюда, а бойцы просто учились воевать, не пёрли больше в ура-штурм, рассредотачивались, расползались по степи выющимися рептилиями, смотрели по сторонам, хоронились при артобстреле.

* * *

Сегодня, что необычно, кроме Дивайса пациентов нет. Так что остаётся время разобраться в не таком уж обширном лекарственном кофре, написать через телефон торопливую весть Ильсие, спросить о сыне, об их поездке в выходные за город, и отчитаться, как всегда вскользь: “У меня без изменений, самоощущение — в норме, погода тоже нормальная...” Писать это в качестве как бы поспешного, подразумеваемого извинения за вчерашнюю вольность. Словно оправдываясь перед собой.

Он и берётся нащёлкнуть текст, но в палатку уже протиснулась обезьянья рожа Шлыка.

— Богданыч, тебя Голова зовёт. Если только ты не занят. Казав зайти, як время будет. Не горит. — Помолчав, показывая, что распоряжение передал, добавляет, почёсывая за ухом тыльной стороной короткой финки: — Всё хотел узнать у тебя, Богданыч: а ты сам живого пиндоса видал? Ну, хоч колы-нэбудь...

Николай недовольно откладывает телефон.

— Нет, с американцами ещё не встречался, хотя кого только не видел!.. А тебе-то какой бубновый интерес к ним?

— Та хлопци тут взяли одного. Из тербатальона “Збруч”. — В отличие от правительства, которое понимало “тербатальон” или, проще, “тербат” как “территориальный”, а значит — сформированный на определённой территории Украины и оплачиваемый частно, одним из влиятельных “патриотов”, в ополчении Отпора расшифровывают “тер” как “террористский”.

Шлык всё ещё опасно расчёсывает себе кожу у шеи:

— Взялы вояку тыхо, рта йому завязалы. А як принёсли сюды, завязалы... — а не руський. И не укроп. Непонятно, хто такой. Думаем, шо пиндос.

— Так меня из-за него Голова зовёт?

— Ни-и, цэ я так. Шоб ориентироваться... Ты ж у нас кадровый... У кого ж ще спытать? — Шлык из деликатности шмыгает только одной ноздрей.

Николай так и не знает: Шлык — боевой псевдоним, как у всех тут за редким исключением, или фамилия. Боец отвязный, всегда лезет в самый ад, нациков готов давить руками (его инвалидного брата те погубили при взятии Краматорска, до кучи, не выделяя, когда саданули очередь по небольшому сходу горожан, выкрикивавшему им “позор!”). Знаменит тем, что успешен в мордобое, несмотря на миниатюрность. Брюнетик, загорелый, на цыгана похож. Высшая классность для него — не выстрелить в нацгвардейца или тербатовца, а всадить ему под скулу десантный кортик или ту же сегодняшнюю финку. Видимым осложнением после постоянных прямых соприкосновений с противником у Шлыка стало отсутствие передних зубов, что сверху, что снизу. Он этого не думает стыдиться, наоборот — дерёт горло на всех постоянно и сплёвывает через прореху. Жевать, правда, неудобно, но ничего, приспособится ещё. Молодой...

И что это Голове от хирургии могло понадобиться?

У батальонного не было времени на зелёнки-пелёнки, воевать приходилось много и по колено в останках — своих и чужих. Проваливался западный фланг, там без передыху нацики и армейская артиллерия засыпали из “ноны” 120-миллиметровыми снарядами-минами, которые в полёте были низким бабым воем. На левой стороне шоссе охраняемого участка не оста-

лось ни одной целой хаты. Потери бойцов были предельными; день ото дня мортиролог прирастал именами и именами. Соседи утрамбовали, казалось бы, предыдущий артдивизион врагов, но у правительства находились всё новые дивизионы, и карусель крови не останавливалась.

* * *

Николай, как уже привык, поднимает из-под хирургического стола автомат, не ходит никуда здесь без него — никому не известно, когда может понадобиться, — и, разминая шею, вращая головой, выбредает на поиски батальонного.

Патрульные на шоссе спокойно, будто с детства только и делали, что останавливали автомобили, осматривают облупленную “Ниву”, давно подлежащую утилизационному прессу и двигающуюся лишь на мольбе ездока. Водитель, апатичный брюхан, которого, наверняка, сегодня стопарили через каждые три версты, безропотно показывает ополченским мальчикам все скрытые полости машины. Мальчики похожи на школьников, прогуливающихся урок словесности, по непонятной моде этого свирепого времени они одеты в бронированный камуфляж, с укороченными полицейскими калашниковыми по диагонали груди.

“Гляди ж ты, уже умеют! И когда только обучились? — Ольховой ищет комбата, рассеянным зрением захватив блокпост. Двое шарят в машине, третий — сзади, контролирует водилу... Да, научись, когда столько их сверстников тут положили диверы, диверсанты из тербатальонов, переодетые в станичные обноски”.

Он лишь на прошлой жестокой неделе закрывал глаза одному такому, прогульщику уроков. Совсем был тот ещё по-детски нескладным, сделанным из одних лишь рёбер; удрал из дома, из мирного тыла в центре Украины, чтобы здесь, в терриконовой шахтёрской степи начать очищать, в том числе и свой тыловой пригород, от рунических, совершенно не украинских символов, фигур на эмблемах и знамёнах майданов-тербатов...

Но батальонного нигде нет. И у двух музейных гаубиц, экспонатов, которые пригнали для их забытого предназначения из городского парка Славы, ныне стоящих в тених тополей вдоль обочины, никто не знает, где комбат.

* * *

Находит Ольховой его в известной шоферам-дальномерам, по довоенному времени столовке при трассе, только что наспех приспособленной под подобие легучего штаба и склада трофейных снарядов (для отбитых у нацистов же условно современных самоходных артустановок и стационарных миномётов).

Командир батальона, собранного в мае в Харцызске, с фамилией Довгало, подглуховатостью и запоминающейся привычкой неприятно громко щёлкать в размышлении пружинным устройством шариковой ручки. Единственный в этом крыле движения Отпора старше Ольхового годами.

— Здоров був, Айболит, — машет Николаю из дальнего угла столовки-склада. Пьёт тархун из зелёного пластика, недовольно кривясь: газировка тёплая и оттого гадкая — холодильник стоит отключенным, электрокабель вдоль шоссе перебило прилетевшей “ноной” уже больше двух дней назад.

— Здоров, Сэмэн Данылович! Да не Айболит я, сколько повторять!.. Он, как известно, по ветеринарному списку проходил. А я-то больше на людях упражняюсь, — хирург пожимает гиревую руку комбата.

Довгало, бородатый, взъерошенный, с рано поседевшими вихрами, компактный, но выносливый, чутунный, как зверь-броненосец, усаживается в стоящее в углу кресло, отвинченное с водительского места автобуса. Предлагает глазами и Николаю присесть в похожее, валяющееся у входа. В помещении ходят рядовые, уже непризывного возраста, таская с улицы ящики,

набитые патронами любой маркировки и размера и ещё с завода зауклененные в промасленную обёртку заряды для ручных гранатомётов.

— Ну, як в тэбэ справы? — Комбат прикрывает ладонью зевок.

— Какие ж у меня дела? Сегодня — вообще, считай, без работы. Только одному и помог. Пульку выгасил и на память отдал. — Ольховой кладёт на пол пока не пригодившийся с утра калашников. — Может, пойти мне с вами, Данилыч, с хлопцами? Повоевать малёк, кости размять, бандер, ляхов-найманцев да разных прочих шведов полўцить. А то я так вообще стрелять разучусь...

— Повоюешь ще, никуды те швэды от тебя не убегут, их тут прыехало — на повну роту. — Довгало, как ставя точку в конце каждой фразы, зевает от недосыпа. — Почувваю, шо биться нам с хунтой ще долго, сука. Так долго, пока бильшисть людэй нэ зрозумие, шо там сидят ворюги и запрўданци, холуи подпидносские, под которыми нам николаы не быть, сука. Цэ не на месяцы дело... — вздыхает. — Так шо постреляешь ще.

Николай стягивает с себя куртку и вытирает ею бока — накал уходящего лета впивается в тело, в стены, в бетон цоколя, в сгоревшую до паркетного оттенка траву у крыльца.

— Ну, а вообще как у нас обстоит? Что нового? А то я кроме бинтов ничего не вижу. Совершенно выпал из контекста.

Комбат допил тархун и завидным броском зашвыривает пустую бутылку в далеко стоящий ящик с отходами и обрывками бумажного мусора.

— Та шо нового? Багато чоґо нового, — подзадумался. — Из поганого вот шо: вчора ще четверых потеряли, сука. Особльво жаль Генгёму, то бишь Гальночку Хмару, на захвате работала в звене Скомороха. Дончанка коренная, мастер боевого самбо, красуня... Эх, даже не рожала ще... А скольких вуйкўв на той свит наладила!.. — Довгало неизвестно кому грозит пудовым кулаком. — Ще грека наш, Костаниди, тож коренный, азовський. Вёрткий був, як гурза. А от, вбылы... Пўтим ще Стёпа Поспелов. Тож боевой був. Козак! — Комбат по-украински выделяет “о” в слове. — Прыйихав до нас з Астрахани. Ще з самого начала тут... И, четвўртый, останний, а́нтал Надь. Памьятаеш такого? Мадяр. Ну, усатый, как из “Песняров”... Наш человек, хоч и латынянин по вере. Чёткий був наводчик. — Довгало горько пыхтит. — Полегли братья за курган Савур. Но зато курган мы отбили. Самый высокий тут. И трёх недель хунта его не удержала! — Победно усмеяется. — Ну, шо ще з поганого?.. Нацики разбили артиллерией усю вульцю Зубкова у Харцьзськи. А ведь у городе наших бийцив николаы й нэ булў. И нацики нэ мўжуть про цэ нэ знаты. Трўщат дома, сука, шоб у наших хлопцев голова болела за родных, оставшихся на вулице, а не за продўвження отпору... — Снова возносится литая рука. — Тут девчата з села глядили телек, так там хунтовський канал “Одын плюс одын” передав, сука, шо то мы сами растрўщили город. Чуешь? Мы сами! Ну, нормально? Когда у меня в батальоне, почитай, половина з Харцьзська... А наци ще одну церкву сожгли дотла — храм Ивана Кронштадтського...

Довгало щёлкает кнопкой шариковой ручки, высовывая и засовывая обратно стержень.

— Есть присказка така, деткам кáжуть: не ешь с ножа — злым вырастешь... Так, видать, ту хунту с топора, сука, кормили.

Ольховой вытягивает ноги по полу, полулёжа в своём автобусном кресле.

— Ну, а что хорошего?

Комбат, наигравшись с ручкой, прячет её во внутренний карман камуфляжа, подальше, чтобы не сломать щёлкающую часть — ещё понадобится.

— Гарного тож немало. Дран нациков. Со всего восточного Донбасса. Наши пошли на Мариуполь, отвоевывать. Нацики обосрались с переляку, драпают так, шо тильки пыль по дороге, сука. Соседний наш батальон “Исток” обзавёлся новыми тремя, чуток подпалёнными танками — подарок от вуйков. Те бросают усё, шо не могут увезти. С утра мы перебили у них батарею “Мста-Эс”. Так шо металлолому для мартенов прибывает. — Довгало медитирует недолго и, преодолевая сон, мямлит под нос: — Тебе б, конечно, Айболыт, надо бы в город перебираться, в больницу. Там хоч какое ни

есть оборудование, медикамент. Но, по нашим соображениям, та больница у нациков пристреляна. Неровён час... А тут твоя палатка ничем не приметна. Так шо звоняйте, придётся пока тут.

Николай вспоминает о Шлыке:

— Да, Данилыч, мне тут твой разбойник сказал, что ты хотел что-то от меня. Что хотел-то?

Довгало потягивается у себя в углу, с усилием протирает глаза, чтобы соскрести густую, как клейстер, дрёму.

— Правильно вин тоби сказав. Хотел... — Достает из кармана мобильный телефон, собираясь звонить или ожидая звонка. — Мои у Кутейниково взяли двох нацистив, з тербатальону. Сейчас везуть сюды. Когда доберутся — Бог знае. На дорогах-то неспокойно... У одного з нацев, старшого, ногу страшно порвало, даже ступать не може. Так ты готовься его брать к себе. Надо, шоб с ногой остался. Важный овощ. Продезинфицируй или ещё шо... Ну, шоб гангрены, там, не завелось, или... не знаю.

— Посмотрю, Семён Данилыч. За мной не встанет. Это ж моя специализация: микрофлора мышечных ран, раздробленные коленные чашечки, раневые инфекции, переломы шейки бедренной кости. Особенно люблю сдвиг межпозвонковых дисков и иные прелестные вещи, — удовлетворяется Ольховой, узнав, зачем был нужен комбату.

— А ты, видать, сьогодни в гарном настрое, — отпускает его, наконец, Довгало. — Вообще-то, не в моих прынципах из тербатальонов у плен брать. Это тебе не армейцы и даже не нацгвардия, люди подневольные, бильшисть которых насильно призвана, особлыво солдатство... Ни-и, в тербатах — тильки инициативники. Или просто за бабки, и большие, или ще к тому ж и идейны нацисты, для которых мы усе — и российские, и украинци, шо хотят оставаться з Россию, — усе колорады, вата, ватники... Они нас в плен не берут, катують, казнять. И я их не беру. Як правило... Но эти двое, шо до нас зараз везуть, нужны. Здорово нужны. Так шо ты, Айболыт, почини мне раненого. Шоб до ампутации ноги, сука, не дошло...

Червона Слобода у Черкасс. 19 мая 2014

Не хотела Светка спокойно сидеть на колене Борятьева. Ну, вот не хотела, и всё! Крутилась, пыталась соскользнуть на пол, убежать. Не понимала, отчего папка так крепко обнимает её, гладит ей всё время волосы и целует в затылок. Ей хотелось на проулок, побегать с Гарпушей из соседского двора, попрятаться в лопухах за дровяным сараем, погонять кур с огорода — они так смешно разбегались с кликушеством от брошенной в них ветки, так смешно лопотали...

Но папка не отпускал. Приходилось терпеть в такую жару его горячие руки.

— Ну, шо ж ты всё прыгаешь, скажённа! — мимоходом укоряла её бабушка, накрывая стол на веранде. — Батько прыйихав, а ты даже сэкундочки нэ можешь посидиты з ным поруч. Ось уйдэ, будешь сумуваты за ным.

— Да не надо грустить по мне, — Борятьев отмахнулся. — Я ж живой. Уеду, приеду, снова уеду, и снова приеду... Ладно, иди, играй.

Нехотя отпустив вертлявую дочку во двор, посмотрев её вслед, он повернулся к тёще.

— Стефания Петровна, спасибо вам за Светланку. Если б не вы, я б уже и не знал, как мне ехать. Наверное, и не поехал бы... А так...

Достал из кармана конверты.

— Здесь мои бумаги на вклад в “УкрСвитБанке”, а здесь — полная на вас доверенность, Петровна. На всё, что у меня есть. Не Бог весть что, но всё-таки...

Тёща, казалось, не обращала внимания на его меркантильные заботы, продолжая ставить на клеёнку тарелки с оладьями, только что с огня, чашки, сметану, колбасу, наскоро нарубленный салат.

— Та годі, чога там! Бог дасть — не помрэмo. В мэнэ пэнсия, яка нэ яка... Хоча, краще не йихав бы ты, Евгэн. Всэ ж батько для дивчинки

важніше, ніж бабка... То йийи старший брат уйхав кудысь, тэпэр ты... Я вже стара, та й хата моя, на жаль, нэ надийна, хытається, як я сама.

— Да будет вам, Петровна, — уходил в минор Борятьев. — Не шатайтесь вы! И надёжней человека у меня нет. Тем более, что я подправил тут, что надо. По поводу электрики договорился с Михасём Осыкой, всё ж монтёр на подстанции. Завтра придёт, посмотрит проводку, заменит, где требуется. Вы ему гривен сто дайте. Но только после того, как сделает, а не до. А то я его знаю!

— А ты надовго? — исподтишка, боясь напугать судьбу, спросила женщина, отводя вбок выпуклые, мокроватые, старые свои глаза. — Я вже нэ спытаю — куды. Можешь нэ говорыть, якщо нэ хочешь.

Борятьев осушал лоб манжетой рубашки. Запекало уже совсем по-летнему. Шершни со шмелями ожили и гужевались в углах навеса над верандой.

— Не знаю, Петровна. Как получится. Может, и надолго. Надо гопоту донецкую придавить. И кацапам ненасытным дать в зубы... Но надеюсь, что ненадолго. Вся страна, сами видите, поднялась. Им против всей страны долго не устоять. Да и за нас, фактически, весь мир. Все даже кацапского духа не хотят...

— Та шо тоби ти кацапы! А ты сам, хибá, нэ кацап? — тёща присела на краешек скамьи, напротив Борятьева. — Ты б про доньку подумав. Як вона́ без тэбэ будэ, коли щось з тобою выйдэ? — Подтёрла под глазами каймой слободского наплечного платка.

Он негодующе ронял, как выбрасывал, на пол, под ноги, туда же уйдя взглядом:

— Я украинец, Стефания Петровна. Я здесь родился и вырос. Для меня эта земля — родная. И не надо за речь мне счёт выставлять. Русский — такой же свой для украинца язык, как и украинский! — Говорил с упором, хотя уже и без прежней убеждённости: мол, само собой... — К тому же, не могу я сидеть тут, когда мою страну рвут на тряпки. Крым отжали! Как бандюги, ночью, втихаря. Воспользовались, что у нас долго не было порядка, что армию никто не берёт... Донбасс отымают. А потом пойдёт и пойдёт...

Тёща сплетала костистые и кривые пальцы, перекрученные болезнью и долгим трудом. Вздохнула:

— Та шо, Крим тэбэ нема́ кому йихаты? Ты ж нэ вийськовый... Та й нэ парубок вже!

— Да, вот потому, что я уже не юный! Как я могу тут спать, жрать, а тем временем туда посылают просто цыплят! Вы ж видели тех призывников! Им даже бронжилет тяжело таскать... Кого посылают-то? Из бедняков, дистрофиков... Нет, туда должны ехать только такие, как я. Мне уже, слава Богу, в этом году будет сорок четыре. Я пожил. Двух детей после себя оставляю. А они? Ну, те, цыплята... Что они умеют? Что они навоюют? — Евгений неосторожно откинулся на шаткую спинку лавки. — Вот вы говорите, Петровна, что я не военный... Но вы ж знаете, я же старшиной в морской пехоте отслужил, ещё при СССРе. От первого до последнего денька. Кое-что помню, кое-что ещё могу. Не увечный. Глаза видят. Так что я там собою хоть пару наших хлопчиков упасу... — И после затянутой паузы, грузно: — Не-е, решено. Еду. Я и договор уже подписал. У нас тут формируется добровольческий батальон. Под Кременчугом. Один большой человек выделил средства. И все остальные — миром собирают по гривне, канадские поселенцы помогают... У нас там, в батальоне, немало таких собирается, как и я, в зрелости, служили, так что не жалко...

— Ну, дывы́сь, ты ж батько. Уже дорослый! Тоби ришаты. — Тёща смотрела укором, стряхивая с подола невидимые крошки. — Алэ якщо загинешь там, то знай, шо донька твоя, та й сын, тоби цого не простать. — И она снова посмотрела на Евгения тем самым взглядом, памятным ещё с позапрошлого сентября, с церковной службы, с тех скомканных поминок.

То был самый невыносимый взгляд, который нёс на себе Борятьев.

Уже больше полутора лет минуло, а взгляд Стефаны Петровны его сжигал. С того лютого сентября, когда в не принимаемой рассудком катастрофе, на дороге, подлость своевольных узоров судьбины забрала у него сразу трёх

дорогих, любимых. Любимей — только дочь и сын... Хотя... Разве ж можно так считать! Все любимые...

Тогда он подболел. Температурил, из носа капало, как из проржавевшего топливного бака, всего трясло, тридцать девять и три, рвущий горло кашель, ломкое тело, всё тянет в постель. Конец сентября выходил ветреным и ледяным. Но как раз в это время надо было везти родителей в аэропорт Черкасс; им нужно было лететь в Одессу, в санаторий под Калаглией.

Борятьев мог бы нагло таяться тогда пиллоль, ещё чего-нибудь, собраться. Но, признаться, не хотелось выходить в обваливающийся ливень из тёплого дома. Можно было бы и такси нанять, да жалко стало денег — зачем тратиться! Езды на двадцать минут, есть же своя “Лада приора”, а таксёры, свора гиен, заламывают несусветные цены, когда слышат про аэропорт. Вот и вышло везти жене. Кому же ещё? И кто тогда думал о том, чем всё кончится!

Дорога скользила, ливень издевательски рушил стену воды навстречу, приходилось ехать по реке. И Тося не справилась с управлением, вылетела на встречную полосу, как потом было написано в протоколе; разделительной линии вообще не просматривалось. Ну, и — встречный многотонный обоз двухприцепного MAN на полной скорости въехал в них на Смелянской, на самом уже подъезде к аэропорту.

Убило всех троих в “Приоре”. Жена с папой сразу же были раздавлены — месиво. Папа всегда любил сидеть впереди, рядом с водителем. Вот и посидел... Мама умерла лишь на утро — оказалась в машине за невесткой, которая взяла весь удар на себя — на лицо, на грудь, на сердце...

Тёща и так не очень-то почитала зятя. А за что почитать? Самодуристый, властный, совсем придавил тихую и безотказную жену, Тосю, любимую донечку. Огромный, как слон, рядом с такой тендитной Тосечкой. Бесцветные ещё эти его глазщи, как будто бельмы... Да ладно бы был гáздой, хозяином справным! Так ведь заработки-то — от раза к разу. Вот вроде бы закончил в Харькове уважаемый технический университет, что-то по электронике... Ну, и что с того! Поработал по профессии лишь пару годков. А где, кому в стране последние два десятка лет электронщики требуются?.. И потом пошло-поехало: по закупке стройматериалов, директор зачуханного дома отдыха на Южном Буге, маленький начальник на горнолыжной стройке Буковель. В перерывах же между случаями работы лежал дома, как тюк, и только под телевизионных обозревателей страдал, всё переключал кнопки. А Тосечка тянула на себе пятерых, обстирывала, обглаживала, кормила — его самого, сына с маленькой Светланкой, мужниных родителей (ведь вынуждена была жить вместе, в их черкасской квартире), — вычищала в блеск всю эту четырёхкомнатную громадность, а ещё и работала пятидневку кадровиком шёлкового комбината, бедненькая...

— Простите меня, Стефания Петровна, если сможете. Это из-за меня, — по-новому, чуть ли не заискивающе, воспалившимися глазами смотрел на тещу Борятьев в церкви, когда отпевали сразу троих погибших. — Я во всем виноват. Только я. Не сберёг...

— Та нэ звынува́чуй сэбэ. Пры чому тут ты, Евгэн, — старуха неподвижно стояла, ненавидящими глазами ударяя в него тогда, впервые прямо в зрачки. Впервые, потому что раньше — только куда-то мимо.

Западное Предуралье. 10 мая 2014

Не просто суббота, а ещё и праздники. Клиенты — насыщенные и возможные — съехали на дачи, открывают сезон грядок и мелкого ремонта по дому, в городе мало кто остался. Кому сейчас до обустройства контор! Сегодня никому не требуется компания “Функционал-1М”, комплексное оборудование офисов “под ключ”: мебель, оргтехника, оптоволоконная связь, бытовые электроприборы”. Сегодня важнее раскупорить после зимней спячки свою дачную халабуду где-нибудь на бережку Белой — широкой и совсем не светлой реки Агидель — или в направлении Чишмы, или в противоположный бок, по Челябинскому тракту, собрать прошлогодний бурелом, покопаться

в трубном змеёвнике от “Башводоканала”, просто побездельничать на природе, а то и улететь далеко, к морям и дельфинам.

Дни нежеланной праздности. А раз нет работы — нет и денег. Сиди, лапу соси.

— Так и будешь весь день в окно утыкаться? — за спиной зазвучало меццо-сопрано: Ильсия распевалась с утра. — Совсем потерял интерес к дому, Ольховой? Ты уже не с нами, уже сбежал? А у сына твоего, сачка, между тем, по химии — двойка на двойке. Позанимался бы с ним, чтобы он хоть этот класс закончил без скандала, не как прошлый. Я ничем с химией ему помочь не могу, а ты ж в своей академии изучал, обязан помнить. А, Ольховой? Или гори всё?..

Повернулся, встречая два распахнутых, светло-серых знака вопроса под тонкими, частью выщипанными чёрными бровками.

— Тебе сколько говорить, Иля, чтоб ты меня по фамилии не называла? Не выношу это в семьях. Когда жена так к мужу обращается...

Женщина показательно недовольно дёрнула плечами, фыркнула — так фыркают только что вынырнувшие из воды, — развернулась, ушла в кухню-гостиную — исполнять гаммы посудой в мойке.

Он ощущал себя преемственно, но снова самым боковым зрением и самыми заворочками сознания отметил безупречность линий её высоко оголённых, немного венозных, но всё так же, как в юности, ошеломляющих ног. И хотя эти ноги наряду с другими сегодня никак не могли быть первостепенны для него, Николай не мог командовать своими желаниями и умением замечать.

Удивительно, что с годами не наступало привыкание. Живут бок о бок изо дня в день; пора бы всё-таки. А вот не привыкалось. И её ноги всегда волновали его. Из-за них, выписанных, словно у балерин Дега, он и захватил её когда-то. Захватил, как захватывают осаждённую цитадель — измором.

И ещё захватил из-за её гротескно выпуклой груди.

На этом, в общем-то, и заканчивалось её фёрте — сильные стороны. Ну, ещё глаза, вероятно, можно бы добавить: ясные при общей чернявости — всегда эффектно... Но не более того. Лицо грубовато, с неровной кожей, будто поле поздне-мартовское, ещё голое. Не придавали изящества ей и большие мужские руки.

Носила она своей метр восемьдесят гордо и прямо, даже чуть откидывая голову назад. Он, из-за приобретённой за операционным столом сутулости, часто казался даже ниже неё.

В тот день, незадолго до расставания с нечёткими перспективами, Ольховой зачем-то вспоминал, с чего у него всё начиналось с его такой несовершенной, но такой зовущей Сиреной.

Чего вспоминать? Зачем?..

Впервые он влетел в Уфу ещё курсантом, в двадцать один, весной, в год ГКЧП и последующей смерти Союза. Направили на стажировку в гарнизонный госпиталь.

Вобрал в себя этот русско-тюркский город, его едва уловимый флер мечтательности, но одновременно и его же устроенность, устойчивость. Горячие мясные учпачмаки на каждом углу, сок течёт по подбородку. Парки-леса на пол-Уфы... Его, увлечённого самоучку-малевальщика, оглушил художественный музей, без преувеличения, мирового ранга, о котором он никогда даже не слышал. В столбняке стоял перед незаконченной шедевральностью первой пробы “Видения отроку Варфоломею”, нечаянно прорванной ещё самим Нестеровым, позже с любовью склеенной и зализанной неторопливым реставраторским шпателем.

Его, тогда ещё не искушённого, только что из госпитальной казармы, забрала и игра артистов драмтеатра в арбузовской пьесе “В этом старом милом доме”. Увидел в театральном фойе в антракте одиноко озиравшуюся, тогда ещё девятнадцатилетнюю Илю. И запульсировало, подкатило жаром к голове!

Прилип, начал безответственно врать о себе, пригласил на сэкономленные рубли пообедать-поужинать. Она забоялась отказать настырному солдату с медицинскими петличками, и так, первый раз в жизни, попала в ресторан.

С испуганным интересом разглядывала пожилых и крепко подбитых дядек и тёток за соседними столами, нервно оправляя свою мини, которая лишь чуть скрывала восхитительные ноги...

Что за ноги!

Их себе она сделала на прыжках в высоту и беге в спортивном обществе “Спартак”. Родители, старший брат и вся традиционалистская мусульманская семья очень не одобряли ни её “Спартак”, ни прыжки через перекладину, ни её длинные ноги, почти не прикрытые мини-юбочкой. То ли эти борения, то ли любознательность, то ли ещё какие позывы притянули Ильсию в одну из церквей под Уфой (в самом городе она бы поостереглась — а вдруг заметят!). Потом съездила ещё раз и ещё. Стала заговаривать с церковными женщинами, отстаивала службы в платочке, прикрыв колени метром бязи на булавках, слушая многогласые хоры Рахманинова, читала тайком то, что ей давала старшая из женщин. И как-то незаметно, не вдруг, приняла христианство.

Когда скрывать православие уже не хотелось, пошла в раскол со старшим в роду и даже с братом. Только мать тихо всхлипывала, возясь со стёжкой одеял на женской половине дома:

— Ай, доча, доча! Что ж ты наделала! В прошлые времена тебя бы наши мужчины сами должны были бы задушить ремнём... У нас так было. Дворянская бабка твоя, Катиб-ханум... Тоже к крестовикам хотела уйти.

Приговор семьи и отказ всех от Ильсии пришли неизбежно, как дождевые потоки после недели летней духоты. Но это всё случилось, уже когда Ольховой давно уехал.

Семь лет он названивал Ильсие:

— Привет, злюка! Как ты?

Виделись при его отрывах в Уфу на пару дней, в отпуск. Никакого интереса длинноногой к себе Николай не находил. Она всё время старалась от него отгородиться, воздвигая стену своим иссушающим “не торопись”. А в годы второй чеченской кампании, когда он даже спать оставался рядом с операционной (столько приходилось резать и шивать!), Ильсия стремглав прошла через порывистый роман с чересчур взрослым для неё коллекционером средневековых гобеленов. Даже отпробовала немного брака, уже через несколько месяцев разочаровавшись в этом институте.

Николай позвал её, ещё не разведённую, лишь ему сравнялось двадцать восемь. Получил капитана медицины, и его финально, будто подаянием, облагодетельствовали ужатой квартирочкой в доме молодых офицеров на Лебердоне (вспомнил городское прозвище левого берега Дона), а то всё мерз по съёмным проходным, сырým комнатам Выборга или Иркутска. В такие клетки он не мог и не хотел никого звать. А Ильсия, как потом стало понятно, уже ждала, что хотя бы кто-то позовёт. С сомнением поехала в ростовское июньское пекло, медленно ответив по телефону уже “да”, вместо “не торопись” с таким сомнением, словно напоказ не боялась, что капитан медслужбы может отозвать приглашение.

Они не стали сразу жениться, давая друг другу возможность переиграть. Но меньше, чем через год после приезда Ильсия родила себе и Николаше Ольховому затейливого и беспокойного мальчишку, которому долго никак не могли дать имя. После месяца переборов, странно назвали Миркой. Мирном. Странно — потому что ни во чью честь.

С сыном у них заметно добавилось вопросов, бутуз часто хворал, о женитьбе даже не задумывались. Так, не скреплённые законом, и жили, и катились по стране, меняя гарнизонные госпитали на окружные.

— Ухожу в запас! Надоело нищенствовать. Уже рапорт подписали, — скоро, не всё до конца продумав, отдекларировал Николай; шел 2007-ой год.

Ильсия если в чём всерьёз и винила его, то лишь в том, что он поставил её перед свершившимся фактом.

— А советовать тебя не научили? Ты один живёшь? Ну, и как нам теперь?

Ему бы самому знать — как теперь. Решили возвращаться в Уфу. Точка их встречи была не только родной для Ильсии, но и стала важной для

Ольхового. Уфа заметно подправилась, облагородилась и почистилась за годы его отсутствия, к тому же возможности прокормиться в ней, казалось, были благоприятней, чем в любом другом месте, доступном Николаю.

Со временем, долго борясь с условиями и поняв, что в районной больнице он хирургией заработает не больше, чем в войсках, решил забыть о своём образовании и написал по электронному адресу на удачу, трижды округлив карандашом объявление на одной из страниц “Уфимского перекрёстка”. Объявление заманивало синекурой коммерческого директора в направлении комплексного обустройства офисов. Работа, как можно было предположить, оказалась не синекурой, но и не сложнее любой другой, хотя занимала почти всё время.

Часто ездил — Стерлитамак, Ишимбай, Салават, Мелеуз, Сибай, Нефтекамск, — подыскивая клиентов, знакомясь с риелторами, владельцами начинающих фирм, которым нужен был угол для конторы.

— Зря ты больницу бросил, — неодобрительно качала большой головой Ильсия. — Ты же там только начал работать. Ещё пару лет, и у тебя появилось бы имя, люди бы к тебе потянулись. Ты же прекрасный врач. И с доходами всё наладилось бы.

— Какие ещё пару лет! Нет их у меня больше, — несмело отзывался Ольховой. — Все авансы в моей жизни — в прошлом.

За последующие годы в конторском бизнесе образовались определённые накопления, так что можно было разжиться не только новым — от производителя — стабильным корейским “Хюндаем”, но и замахнуться в кредит на “двух”. Ещё вовремя появилась и программа сертификатов для военных с выслугой лет, решивших уйти в запас.

Квартира нашлась в недавно построенном многоэтажном сталагмите за Шугуровой, на дальней северо-восточной границе города, вытянутого, если смотреть по карте, сверху-вниз, как баклажан. Через полгода жизни там стерпелось-слобилось: никаких тебе городских шумов, природа вокруг тихо играет ветром по кустам шиповника или кричит галочьими стаями. К тому же Ольховой узнал, что с этой стороны, если ехать от города дальше по прямой, неизбежно через час, а то и раньше, наедешь на посёлок Черкассы и на нечто вроде речки с тем же названием. С днепровским эталоном, конечно, не тягаться, но всё равно забавно. Вот так замыкаются круги жизни...

Помня то, что Ильсия не любит экспромты, он решил загодя, хотя бы за пару недель сказать о своём решении на ближайшее будущее.

— Вот, — протянул вчера ей заготовленный пакет, перетянутый кассирской резинкой. — Здесь четыреста тысяч; всё, что удалось собрать. Я даже себе ничего не отложил... А там пара местных воротил платит, боясь, что если нацисты возьмут их города, то и бизнес оттянут... Так что жди перечисления, я дал реквизиты нашей сберкнижки. Сама книжка всё там же, в спальне, под иконкой в красном углу... Больших денег *оттуда* не обещаю, но, думаю, вам с Миршей должно хватить.

— Ну, конечно! — Ильсия часто зафыркала, как пловчиха в баттерфляе. — Скажите, пожалуйста! Нам с Миркой должно хватить! А ты не забыл, Коля, что у нас ещё взносы за квартиру?

— В случае чего, сдашь машину. Это — на крайность. “Хюндай”, хоть ещё и свежий, но много за него не получить... Однако что-то всё-таки получишь... И хватит, мне надоела твои колкости! В конце концов, ты тоже работаешь. Нечего играть в женщину, которую бросают!.. На самую крайность, позвонишь моей маме. Копейку-другую на внука она всегда даст. Ей, говорят, пенсию прибавили. Ещё гонорары иногда получает за статьи в журнальчике, в “Музейной жизни”.

Но понимал, что Ильсия его придерживает никак не из-за денег. И разве любая женщина вот так возьмёт и с поющим сердцем отпустит своего мужчину на войну! А ведь там война — уже в полный разнос...

Он истлел за предыдущие месяцы, не мог спать ночами. Ворочался рядом с женой — не-женой со спины на живот и наоборот; потом на цыпочках, босиком пробирался в кухню, заваривал кофе и до утра присасывался к компьютеру.

Интернет рвал понимание. Его родина горела, его сладкоголосая и открытая, нежная родина, где каждому всегда было удобно жить: и украинцу, и россу, и иудею, и элину, и хоть папуасу. Дуболобый многосоттысячный нацист из Галиции, которого ещё со школы Николай видел злобной крысью, захватывал там всё.

Вчитывался в немыслимые по дикости реплики к новостям; в эти новости и без ремарок невозможно было верить. Всмотривался в людоедские фотографии и видео. Форумы превращались в рубилово: из Украины и России швырялась навстречу друг другу такая словесная рвота, за которую раньше можно было осесть в тюремной камере на годы. Факельный марш нежити в вышитых рубахах по Крещатику, огромный портрет Бандеры на фасаде мэрии, коптящаяся резиновым дымом столица. Объявленный главным телеканалом конкурсе на самую отвратную изобретённую насмешку над “даунбасами” и “лугандонами” (очевидно, что людей Донецка и Луганска остальная страна уже своими не считала). В родном же городе, на Пастеровской улице стреляли в Серёгу Саенко, в когда-то знаменитость изостудии городского Дворца пионеров, теперь — лауреата, народного художника республики. И всего лишь за то, что он написал и выложил на своём сайте сегодняшнее прочтение гравюры “Сон разума порождает чудовищ” Гойи, всё с теми же факельными походами и уцелевшей сволочью из ОУН; ранили его в желудок, плохо ранили. Семидесятипятилетней матери Лары Княжицкой торговка на Червонослободском рынке плюнула в открытую сумку и поносила грязно — та осмелилась назвать майдан “проплаченным ведьминым шабашем”.

Ольховой звонил оставшимся в городе своего детства немногим знакомым, спрашивал: как могло такое случиться? что с людьми произошло?

Но понятных ответов никто не мог дать. Спрашивать у матери — без толку. Она только плакала. Что она могла подсказать из Анапы? Знала лишь то же, что и он. Сколько уж лет вне Украины!.. Пробовала сама звонить бывшей соседке, хлопотунье тётке Фасе, всегда подкармливавшей Колю Ольхового, любимчика, только что запечённой в кляре рыбой.

Мама хотела поговорить, так та сразу же ей нагубила:

— Вы там в вашей России ни бельмеса не разумеете, вы там все заговорены антиукраинской пропагандой. Вам, небось, передают, что тут у нас детей режут и их кровь пьют литрами!

Решение ехать вызревало, как незлокачественная опухоль. Долго, месяцами. Ночи превратились в издёвку. Спальня — в пыточный каземат. Ночное воображение бередило одним и тем же, как кочергой в калёных углях: видел родную ухоженную улицу, завешанную кроваво-чёрными флагами ОУН-УПА, и необозримую толпу в парке Долины Роз, ревущую “Слава нации! Героям слава! Смерть врагам!” А уж после истребления рискнувших не согласиться — первого мая в Харькове и второго — в Одессе, — понял, что всё решено без него. Теперь, хочет ли он того или не хочет, но он уже там. На Донбассе, где ещё едва дышит надежда на возвращение к прежнему и здравому смыслу. Где люди, судя по вырисовывавшейся в компьютере картине, решили ткнуть фигой в морду всех сволочей, оккупировавших страну.

Он торопился, ехал. Что бы ни произошло в ближайшую неделю-полторы, билет уже заказан. На воронежском поле будет ждать его деловой человек, которого отрекомендовали как Штопора; он Ольхового и ещё двоих перевезёт-переведёт через Деркул и Могилу-Мечетную в донецкую неизвестность. Самому ведь не проехать.

Врачи понадобятся, ещё как понадобятся! Особенно такие, как Ольховой, который знает, что это — резать, когда из всего обезболивающего в наличии только мензурка этилового спирта и таблетки пенталгина. Полевую хирургию ждут и в Лисичанске, и в Новоазовске. Там скоро будет совсем страшно.

Белый Яр, Донбасс. 20 июня 2014

Батальон идёт третий день от Изюма. На станции машины и танки сняли с платформ, и дальше они тянутся своим ходом, колонной.

Остановки до этого были частыми и долгими. Вперёд надо было двигаться с вниманием: в каждом кустарнике и палисаде мог ждать гранатомёт. Разведка авангарда работала с опаской, жить хотелось долго, а тут непонятно, из-за какого крыжовенного куста в тебя влетит тупоногая взрывчатая тварь. Уже первая в колонне БМП растеряла гусеничные звенья сразу на двух противотанковых минах у оставленного жильцами и полуразрушенного села. Бордовые всполохи рассекли и подняли суглинок наезженной колеи, раскатились воплем один вслед другому.

И надо же было наехать сразу на две! А сколько их тут ещё...

Становится понятно, что работали военные, а не те ряженые бородастые казаки в папахах с кубанским красным верхом, которые утром пробовали обстрелять из заколосившейся засады сотню Борятьева. Нет, ставил мины профессор. Тут, если внимательно осмотреть площадь под ногами, другого прохода нет, так что неминуемо кто-нибудь наехал бы. А разведка разве под ноги смотрит! Она испуганно шарит глазами по зарослям, по пустым оконным проёмам брошенных домов. Настоящих специалистов во всём батальоне наберётся десяток, из которых половина — командированные из-за кордона. Разве на все сотни их хватит! Приходят-то, как правило, такие же припухшие на домашнем диванчике после сытных обедов, мирные в прошлом мужичины — кто на строительном рынке торговал вагонкой и гипсокартоном, кто колбасу смолил в своём сарае, кто в университете философом доцентствовал... Или совсем ещё ничего не понимающие дети, которые только и умеют про “москаля на ножи!”, на грудь себе нашивая лого батальона с анфасом гетьмана Ивана Мазепы, срисованным с десятигривенной купюры последнего образца.

— Сотник, зióбу у нас некомплект по броникам. Всему взводу Павлюченка нечем крыться, на хер... Шо казать людям?

Громадный Борятьев досадливо смотрит на Бейбаса, своего зама, напоминающего пингвина, с родимым пятном во всю левую щёку, носом-клювом и неодинаковыми бакенбардами.

Бронежилетов и вправду на всех не хватает. Из Дробышево обещали ими завалить, да разве первый день обещали!

— Могу тебе отдать для них свой, мать её... — сотник начинает отстёгивать липучки по бокам. — Устроит? Считаю, один боец во взводе укутан.

Насушенный, мелкоголовый Бейбас перевешивает автомат на другое плечо, ослабляя под подбородком крепёж кевларовой каски.

— Та я шо, соби прошу? Хлопци ж бесятся. Учóра не покормылы, сьогодні нараспашку посылають у бой! Цэ ж непорядок, Евгэн Анатольйовыч.

Борятьев кивает:

— Непорядок... Согласен. Дальше что? — И щурится на как-то сразу сникшего зама. — А у нас вся мотострелковая бригада на подходе вообще без броников. Ну, и что делать?

— Шо нам до мотострелков! Цэ державна армия. Нехай держава за них и думает. А мы ж тут усе по своей воли. Нам броники положены. Есть у контракте, чёрным по белому.

— Да, положены... Но если их пока не подвезли, то что делать? — Борятьев постепенно весь идёт первым — белым, пузырящимся — кипятком. — Назад ийти?.. — Не дожидаясь ответа, впечатывает винничком правдоискателю: — У нас задача: до вечера залечь на восточных окраинах Белого Яра, пока сепарáты не очухались. К утру подойдёт артиллерия. Всё равно в ближайший день никакого боя не будет. Могут в том недовольном взводе потерпеть или мне самому всё бросать и к ним переться уговаривать?.. Так и передай Павлюченке. И от меня добавь, чтоб не выгибался... Свободен! — гонит он от себя Бейбаса.

В расставленных палатках жить совсем невмочь: днём печёт так, что мозги вытекают из ушей, приходится с двух сторон задирать брезент, чтобы хоть какой-то ветер обдувал. Ночью — не лучше, отпускает лишь под утро, и то ненадолго. А с десяти часов — снова жаровня. Солдаты могут заснуть лишь после сталеплавильного бурякового самогона, на который выменивали ещё в харьковских сёлах сухпайки НАТО, самим уже приевшиеся.

В оставленных людьми домах ночевать тоже не хочется. Там может быть заминировано в самых неожиданных местах и, кроме того, противно: иногда забрызгано кровью по стенам, по мебели, по тому, что осталось.

Борятьев не оберегал голос, матерясь по рации с Ворощуком, отвечавшим за тыловое обеспечение в батальоне. Сколько же, как выясняется, незаменимого положено человеку! И если с отсутствием кофе или сменной одежки ещё как-то можно мириться, то без надёжного запаса патронов, сигарет и солёнки двигаться вперёд мучительно.

— Тебе таблетки выслали? — В рации ещё пробовал его отчитывать пожизненно циничный хохотун Ворошук. — Так подкармливай личный состав. Меньше клопоту будэ. Примут — и враз всё станет веселее.

— Ты что, хочешь моих хлопцев на шмаль посадить? — Борятьев дал бы своему формальному начальнику в лоб, если б тот стоял рядом.

— Та какá там шмаль, Женья! То ж так, для поднятия духа, чисто взбодриться, — зубоскалил Ворошук. — Но перед боем — вещь обязательная. Ссать со страху не будут. И тебе меньше нервов, и от хлопцев никаких претензий. Усё для них будэ в золоте, амурах и завитушках. Проверено! Я с этим сам через Чечню прошёл.

Евгений тогда отключил связь и пошёл куда-нибудь, в редкие заросли, чтобы никого не видеть и ни на ком из ста подчинённых ратоборцев не обрывать связки. И чтобы хоть полчаса его никто не донимал.

Сеча кругом идёт — до немеющих, отваливающих рук, до окаменения головы. Бандиты из самопроизводной донецкой республики неожиданными налётами теребят хвосты наступающих правительственных соединений. Армия захлёбывается.

Тербатальоны несравнимо лучше обеспечены, ну, и состав собрался идейней, все пришли сами, не за шкуру притащены, многие — после службы в войсках, кто-то даже в перерыв в службе, но всё равно, каждый новый шаг, каждый посёлок, освобождаемый от сепаров, сепаратов, сепаратистов-предателей, даётся таким трудом, такими жертвами, что кажется: ещё чуть-чуть, ещё день-два, и всё поползёт, разольётся по неровным полям вокруг, и собрать воедино всю мозаику, когда-то слитно выдвинувшуюся из Кременчуга, будет уже невозможно.

В вынужденные часы простоя Борятьев звонил в Черкассы, если мобильный клавишник ловил сигнал. Выспрашивал тещу о Светке, о том, чем живут, как.

— Что за соседи вас на Днепр вчера пригласили? Крамаренки? Или которые справа?.. — нервничал он. — Светлана купалась? Да? Вода уже тёплая? А фрукты она ест? Обязательно покупайте ей клубнику. Когда ещё кушать, как не сейчас!.. Прошу, Петровна: клубнику, черешню, абрикосы — обязательно. Персики тоже. Ну, и сами ешьте, естественно. — Спрашивал с опасением: — Деньги за меня получаете?

— Та не хвильойся за нас, Евгэн. Гроби в нас е. Ты ж зальшив. И перевод прыйшов.

— Так как за вас не волноваться! За кого ж мне ещё волноваться?

Борятьев в каждое не занятое войной мгновение думал о Светке. О Толе уже почти не думал — вроде бы вычёркивал медленно сына из своего блокнота.

Вся Солнечная система для него сейчас ужалась до пригорода Черкасс, до дряблого асфальта с заплатками на улице Кузнеца, где в тени садов частного сектора стоял уверенно на своей столетней основе каменно-деревянный дом Стефании Петровны, несколько ненадёжный сверху, но временами подправляемый Евгением или нанятым шабашником из Червонной Слободы. Сожалел, что подворье далеко от Днепра. Вспоминал родительскую квартиру на Гагарина, совсем рядом с самым прекрасным парком, королевством фонтанов и роз, так и названным — Долина Троянд. Под окнами квартиры на парапет тихо шлёпались взбаламученным песком днепровские волны. Парапет, кое-где забросанный пустыми бутылками, ржавеющим городским непотребом, начинался напротив подъезда, только дорогу перейти.

Хотя одному из ведущих архитекторов города, Борятьеву-старшему, и полагалась обширная квартира, всё равно последние лет двадцать жили скученно. Жить даже впятером было несносно. Родители вынуждены были или уходить куда-то на целый день, или запереться в своей спальне, резервации, чтобы не мешать сыну и невестке растить шалашего наследника. Толик озоровать научился ещё в роддоме, вереща, как вся гусиная стая. А уж когда Тося родила ещё и Светланку, то Борятьев-старший и мама даже перестали есть на кухне, забирали тарелки-чашки к себе.

— Не переживай, Женечка, мы там прекрасно всё оборудовали, — успокаивала мама. — Столик себе купили чудный для обеда, телевизор смотрим...

Если бы он тогда знал, как легко и страшно решится их жилищная перенаселённость!..

Сын как-то удивительно быстро вырос. Шумность и топотание по комнатам сменились у вытянувшегося и потемневшего длинными волосами Толи закрытостью. После школы ненадолго уехал, поступил в столице на компьютерного сисадмина. Вернулся на неделю, и снова — “Досвидос!”. К внезапно подошедшему двадцатилетию ему надо было выделять свой угол. Говорил, что собирается жениться, а возвращаться — ни за что. На отдельный угол сыну у Евгения не было; решением стала лишь продажа квартиры и выдача доли из вырученных сумм. Дал в обрз, на самую маленькую однокомнатную; в столице и такие сбоят злых денег.

По получении положенного, Толик пропал — наглухо, совсем не звонил, сменил номер мобильного.

Покупку новой квартиры для Светланки и себя Борятьев пока отложил, решив пожить у ставшей совсем одинокой тётки, тоже выплакавшей все слёзы после похорон. Там, в гудении пчёл, в апрельском цветении грушевого сада боль выносить, казалось, полегче. Дочке также полезно побегать в чистом воздухе, ну, и присмотр со стороны старухи...

— Анатолийовыч! Я за тобою, — отрезает от Светланки, тётки, Черкас нашедший его вездесущий Бейбас, низко-гулким, как речной пароход, голосом напоминая, что кругом, по всему донецкому кряжу — костоломка. — Нам прислали нового отделённого во второй взвод, к молодым. Токи шо прыйихав з штабу на машине с хавкой. Знову консервы курячие привезлы, на хер, просроченные. Знову хлиба не прислали. Тут кругом мычит и курлычет столько жратвы, шо только успевай. А ось бэз хлиба — жесьть.

— А чё же этот отделённый так долго до нас добирался? — всё ещё булькает Борятьев.

— Та мóвьть, шо им неправильно в Изюме сказали, де нас шукать. Я перезвонил, проверил... Хлопчина, вроде, адекватный. По внешности — толковый стреляка. Говорить, шо ещё до этой бучи служил сверхсрочную, тута, недалёко... Десантура. — Бейбас утирает пальцем струйку, стекающую на верхнюю губу. — Сам його поглядишь, або взводному показуваты? Но ты ж слыхав за нашего Зозулю? Однэ слово — вуйко з Полоньны. Энтузиазма — на трьох, а с подготовкой хужее. В трембитах он, може, и понимает, но вот в десанте...

— Идём... Сам посмотрю, — встав нехотя с трухлявого пня, Борятьев впереди заместителя идёт к сотне.

— И прислали нам малонки дитячи, целу коробку, — продолжает докладывать Бейбас.

— Какие там ещё рисунки? — недоволен Борятьев.

— Я ж говорю: дитки маловалы, з Харкива, зи Львова, з Запорижжя, з Днипра. На коробке було напысано: “Защитникам от детей Украины”. Ну, акцию провэлы... Малонки ризни — е вэсали, е нэ дуже. Так я казав роздаты йих бийцям. Нехай дывляться, бэруть соби на згадку. Ну, щоб нэ скурвиться тут на вийни.

— Правильно сделал, — задумывается Борятьев. — И мне несколько рисунков принеси. Буду на них периодически посматривать. Чтобы тоже не скурвиться.

Прибывший соискатель должности десятника отделения кажется споро-вистым, сотканным сплошь из сухожилий, с упрямым глазом, с короткой ры-жей стрижкой. Голым по пояс моется под рукомойником. При виде прибли-жающегося вероятного начальника встаёт в некую позу, намекающую на “смирно”. Но видно, что не от неумения, а наоборот, от навыка. Как бы обозначал чинопочитание, не напрягаясь на его исполнение.

Пока шли, зам поведаль Борятьеву в одном длинном предложении подно-готную соискателя. Тот воевал с самого начала антитеррористической опера-ции в другом батальоне, был даже взводным, но потом разжаловали, пока — до отделённого: разрешал своим солдатам немного шуровать в домах осво-бождённых посёлков и городков, ну, и сам ложку мимо рта не проносил, а люди стали плакаться командиру батальона, и дошло до того лица, на чьи дотации и формировался батальон, и хлопчине приклепали “подрыв доверия населения к освободительной миссии”, понизили в лычках, но оставили на контракте, потому что воевал расторопно, хватко, опрометью врываясь в ук-реплённые блокпосты сепаратистов, расстреливая автоматами с обеих рук бандюганов и приставших к ним люмпенов.

— Ты откуда родом? — Борятьев быстро читает у приехавшего вери-тельную грамоту — предписание, — мельком лишь сравнил фото на паспор-те с оригиналом.

— Из Херсона, — новоприбывший натягивает футболку хаки и подни-мает бронжилет, чтобы надеть и его.

— Да, был я как-то, давно, правда, у вас. — Евгений возвращает доку-менты парняге. — Не знаю, как сейчас, но тогда что-то город мне не пока-зался. Разутый какой-то, в натуре, неприбранный. Село.

Вместо того, чтобы обидеться, разжалованный, слегка ощерясь, сужива-ет глаза, закуривает без разрешения и отвечает негромко:

— А шо ж вы хотели там увидеть? Рази ж хороший город назовут “Херсон”?..

Борятьев зовёт Бейбаса рукой, и разрешает отвести новоприбывшего к отделению, представить. В напутствие:

— Отделение неплохое. Пацанва, в основном. Всем — чуть больше двадцати. Есть с приводами в милицию. Двое с судимостью, на условно-до-срочно. Ты с ними — без церемоний!.. Есть и совсем ещё не троганные... Но все готовы тут сепаратов жечь. Так что моральный дух на высоте. Твоя задача — научить их бою. И, по возможности, вернуть домой не очень по-калеченными. Они стране ещё понадобятся.

И отворачивается, слыша за спиной баящие добавления Бейбаса, нетер-пеливо ожидающего, пока новый командир соберёт все свои вещи и готово-го показывать тому вверяемое отделение:

— До позавчера десятником там був гараздый хлопчина, Марат Соколь-ников, бувший вэ-вэшник, охранник з унутряшних вийськ, сторожив якись зоны. Сам прыйихав до нас аж з свого Орла. Хоч и москаль, но национа-лист, звездячил бандюг даунбасовських та усяких рашистов от сердца! Он московську владу нэ тэршив. Хотив витдилятися вид Кавказу та ишаков ази-атських. И правильно знав, що борба за вызвóлэння його Раши починаеться тут, в Украйини... Та, на жаль, пидстрéльлы його позавчора. Нас тоди крепко вздубили сепары...

— А с настоящими москальскими военными биться пока не приходи-лось? — интересуется новоприбывший. — Говорят, сюда две парашютные роты из Пскова перебросили.

— Ни, — слышит Борятьев затухающий, по мере удаления от него, па-роходный гуд Бейбаса. — З такымы пóкы що не прыхóдылося. А ты йих тут бачив сам?

Ответ разжалованного взводного уже не разобрать. Борятьев отошёл да-леко от него и Бейбаса, начиная обязательный обход палаток сотни, ближ-них дозоров и проверку складирования арсенала.

Пора сотню передавать Бейбасу. Он, в натуре, не совсем готов командовать, технику знает не в деталях. Срочную отслужил ещё когда! Потом же, остальную жизнь у себя в городе, ставил новые стеклопакеты по домам... Но, что́ бы там ни говорить, служака проверенный. В защите не отсиживается, боя не боится, научился уже контролировать всю сотню, а не только тех, кто в секторе видимости. И слушать учится. Это главное на войне — слушать всё вокруг.

Евгения же забирают в штаб батальона, общаться с закордонными посланцами. Вот — гляди ж ты! — с института английский совсем забыл, а как понадобилось — вдруг вспомнил. Почти всё сам понимает, если говорят небыстро. Во всяком случае, дошкольную речь командированного на Донбасс офицера шведской или румынской разведки разберёт. Хуже с англичанами — те тараторят так, что хоть проси их письменно повторять. Они не собираются говорить разборчивей, уверенные, что весь мир обязан знать их язык. Но они, к счастью, приезжают с переводчиком.

Шпионами и военспецами из НАТО ему приказал заняться командир батальона, Сева Зильбертруд, больше похожий на уманского хасидского раввина, чем на боевого командо. Тихий, в очках, говорит абзацами из Кастанеды, Достоевского и Ветхого Завета. До Борятьева дошло чьё-то мнение, что Сева — дальний родич того, на чьи деньги и собирался батальон. Видимо, инвестор никому другому своё войско доверить не рискнул.

Борятьев, и до войны имевший счета к похожим на уманских раввинов, теперь Севу втихомолку не любит. Догадывается, что главный приз того в нынешней войне — всё, что будет отбито. Конечной целью батальона могут быть металлургические заводы на севере Донецка.

Суки, короче, и Сева, и его родич, нахапавший долларов за предыдущие годы, и эти скурвлённые североатлантические офицеры... Разберёмся с ними, когда заломаем донецкую урлу! А пока приходится сносить...

Борятьев понимает, что его переводят на связь с закордонными подсказчиками не из-за того, что он, один из немногих, кое-как балакает на инглиш. Скорее — из-за его военного прошлого, поскольку срочную службу он служил замкомвзвода в роте морпехов Северного флота, в Поморье, на мысе со смешным названием Канин Нос. Из-за не растерянных, как оказывается, за все последние десятилетия боевых рефлексов, из-за того, что в его сегодняшней сотне — самые малые потери батальона, из-за того, что командует твёрдо, у него среди взводных, десятников и рядового элемента репутация крепче титанового сплава. Из-за того, что воюет дельно, не шкурит, себя не оберегает как-то особо, сам с автоматом прикрывал отход своих янычар, когда требовалось... А натовским советчиком, надзорным, разведке... какого-нибудь колупая не дашь на связь, тут нужен человек в ответе, кому бы верили.

Он много стрелял на этой войне. Ещё с мая, когда батальон воевал в Приазовье, до того, как их после переформирования отправили по железной дороге сюда, на север Донбасса, на самое пагубное направление — на Донецк... Стрелял преимущественно наугад, просто в сторону бандитов, отвлекая на себя. Им самим убитого увидел лишь однажды.

Албанец, смуглощёкий, тощий, будто высосанный, фельдфебель Мехмет Шира́, в выдавшей виды полевой немецкой форме, с шевроном УЧК на рукаве. Прибыл сюда ещё с тремя такими же, вроде бы, советовать, обучать хлопцев диверсионным основам, ставить незаметные растяжки, но, как потом стало понятно, больше — за человеческим материалом. Предложил через неделю после приезда Борятьеву за почки, сердечный узел, лёгкие или другие “запчасти” от любого только что убитого мальчика, хотя бы парня не старше 25-ти, такие евро, что Борятьев с дочкой смогли бы на них прожить довольно беззаботно и довольно продолжительно. Всё нужное для хранения и перевозки — в наличии, всегда с собой...

Но сотник в это предприятие не вошёл. Он, не произнеся ни единого слова, оставил в груди фельдфебеля-патологоанатома половину пистолетного магазина. Ощущение оказалось сильнее его, отмеченного медалью вой-

скогового командира. Ощущение взорвалось в нём в одну тысячную секунды, как осколочная граната, ненадолго полностью разрушив разум.

И лишь потом, только через час с небольшим пришло понимание, сознание стало склеиваться. Возобновились мыслительные процессы.

Бейбас, единственный, кому Евгений сказал о своих отношениях наедине с прикомандированным фельдфебелем в тростниковых плавнях, спрогнозировал Борятьеву расстрел за загубленного албанца, если узнает батальонный, а особенно Служба Безопаси, которая наверняка благословила предприятие албанского дольщика.

— Не узнает, — через сведённые челюсти провыл сотник, уже и так проклявший себя за свою, из детства идущую, неводержанность. — Кроме тебя, об этом больше никто не узнает... Пропал без вести косовар, испарился. На войне такое бывает. На ней и не такое ещё бывает, — добавил, выравнивая вдохи-выдохи. Снял с борта одного из грузовиков сотни ещё новую, в обрывках складской упаковки, лопату. С другой машины — такую же. — Лучше помоги приховать эту косовскую мряку.

Они вдвоём стали зарывать торговца внутренностями на заброшенном огороде при неизвестно чьей опустевшей хате.

* * *

В первом взводе зовут зайти. Как объясняют, поесть зажаренной на костре свежины — поймали в оставленном хозяевами сарае бокастого поросятку; резал буковинский Солодчук, он из крестьян, привык. Обещают и чарку поднести: ночью у Гришки Зацаринного первенец родился, брат позвонил. Все земляки Гришки из Комарно загодя скинулись по гривне, двум, трём, ещё в Изюме, купили ему в станционном киоске бритву с поворачивающейся парой лезвий, чтобы молодой папик, наконец, сбрил свою чудаковатую бородку.

Борятьев в охоту угощается свежиной, но от Немировской фирменной водки отказывается: ни к чему это амикошонство с подчинёнными, вредно это.

— Ну, Грыць, твоему сынку — чтоб вырасти здоровым и счастливым, а тебе — семейного ладу и пухлого кошелька, — дополняет пожелание взмахом складной вилки, которая всегда с собой. — И вернуться домой героем... Слава Украине!

Взвод нестройно отвечает положенным приветствием.

— Дякую, панэ сотнику, — центр праздника, заострённый, как богомол, с широко расставленными, мутноватыми глазёнками и пышными ресницами, не имеющими цвета, будто запылёнными, подкуплен редким вниманием командования. — Обицяю, що нэ зраджу... Нэ предам. Для мэнэ цэ почэтно — служиты пры вас.

Борятьев роется во внутренних карманах куртки, пока не находит там серебряно-мельхиоровый, ещё с имперскими вензелями Александра-Миротворца пустой портсигар, историю обретения которого уже и не помнит.

— Ты ж, по-моему, Грыць, курящий. Ну, так вот тебе на память. Не от сотника, не от начальника. Считай — от боевого товарища.

Награждённый запорхал загибающимся ресницами и медленно принял из рук командира имперский подарок.

— Дякую, Евгэн Анатольйович. Вэльмы дякую. Знов обицяю — вы нэ пожалкуэтэ про тэ, що взяли мэнэ.

— Не сомневаюсь, что не пожалею! Как только можно будет, дам увольнение на пару дней. Поедешь, на сына посмотришь, — стучит слегка его в грудь Борятьев, собираясь уходить. — Ну ладно, хлопцы. Отмечайте и дальше. Но чтобы у меня — без чэ-пэ. Понятно? — С притворной строгостью глянул на комвзвода, журчащего носом и дёрганого Вовчика Салия, одетого в форму на два размера больше, с закатанными рукавами и штанинами.

— Так точно, Евгений Анатольевич, — высмаркивает исполнительный Салий, поправляя збрую на животе. — Слава сотнику! — гукнул в персонал позади.

— Слава! — не стройнее, чем в первый раз, отвечает взвод.

Борятьев подмигивает.

— Ну-ну,.. — снова невсамделишно грозит взводному пальцем. — Вот только давай тут без культа личности.

И идёт дальше, не поворачиваясь.

Второй взвод решает проверить потом. Там сейчас Бейбас нового отделенного представляет.

Шагает натруженными ногами к машинам третьего взвода, которым командует всегда чем-то неудовлетворённый кировоградец Павлюченко. Теперь вот из-за бронжилетов права качает...

“Да найду я тебе броники, ехидна, найду уже сегодня! Ты б и сам их давно своему взводу обеспечил, в натуре, если б у тебя этим голова была занята. А то только и знаешь, что перегонять отсюда ставшие бесхозными автомобили в глубь страны, на продажу, а то и отымать у даунбассов”...

Ещё издали услышал гогот и выкрики:

— Дай ему, совковой вше! Дай ему в хлебало, Тюрин. Ужми этого колорада! Нехай подохнет, лайно! Это ему за наших разведчиков, шо они позавчера пожгли...

Сотник с разбегу влетает в десятиголовое, обритое, шевелящееся скопище хаки-людей в камуфляжных разводах. Под подкованными носками тяжёлых британских ботинок сжимается на земле тело, одетое в неформенные, выпачканные ржавым, присохшим рваные штаны и когда-то бывшую белой майку. В теле различается седеющий и истощённый мужичок, задохлик. Его ещё два часа назад взяли на подходе к Белому Яру, в одном из оставленных домов — прятался в погребе. И уже тогда было понятно, что он не ополченец. Слишком немолод, и выворачивал ступню, опять же, подволакивая не сгибающуюся ногу.

— За откол своего собачого Даунбаса вид нэньки Украины голосував у апреле, поц? Воював проты наших? — Бейбас его тогда допрашивал.

Пороха на прятавшемся утром не обнаружили. Никаких свидетельств его партизанщины — тоже. Иначе сразу же застрелили бы или подвесили под стрехой любой хаты поблизости — в назидание. А так только: разбили лицо и сломали кастетом челюсть.

Зачем же рейтары из взвода Павлюченки снова стали его обрабатывать? Похоже, что у схваченного в погребе только что, от прямого удара ботинка вытек глаз. Мужичок в крови закричал такой жутью, что, кажется, вся Борятьевская сотня затихает и оборачивается к месту казни.

— А ну, за-а-а-асохли! — сотник взнуздывает голос, заскакивая в ультразвук, от чего ломит уши.

Тернополец, сержант Гавриш, с бритой по бокам, с переда и затылка головой, вошёл в ритм и бьёт мужика под рёбра лопнувшим от упражнений мыском армейского бота. Сотник ловит его за шиворот и легко отбрасывает назад, метра на четыре, да так, что Гавриш валится в дорожную пудру, поднимая грязные облака.

— Я кому сказал “засохли”? С первого раза не понимаешь, гондурас? Дальше буду уже бить в харю.

Солдаты в мгновение ока обрывают физзарядку, зная норы сотника.

— Так вин же — вата. Откольнык с-сучавый. Сёпар! — пробует огрызаться тернополец.

— Доказательства того, что он воевал, нашли? — Борятьев полосует отделение взглядом анаконды. — А раз не нашли, то нечего тут подкачиваться на ком попало... Он нам живой сгодится. Сменяем его на кого-нибудь из наших, кого вчера сепараты в плен забрали... И, в общем, — сотник, расцветая красными пятнами по шее и лбу, оглядывает свои списочные вооружённые силы, — вы бы лучше прыть в бою проявляли, а то буцкаете штатских, которые под ногу попадутся! — Оглядывает с недолгим вниманием лежащего мужичка, завывающего от боли и с силой прикрывающего ладонью дырку

выбитого глаза. — Приказываю: отдать этого в штаб, Купревичу, пусть сам решает, это его функция.

И печатным маршем идёт дальше — смотреть складирование боеприпаса. — Сотник! — слышит сзади недовольный озыв.

Поворачивается. На него неторопливо надвигается Гавриш. Под солнцем бликуют свежебритые виски и лоб; лишь на самом куполе — хвост волос, на манер казацкого хохолка — “осэлэдэць” или “селёдка”, как его назвали ещё в семнадцатом веке оборонители Руси, ухари Запорожской Сечи с днепровского острова Хортица. В ухе — медная серьга.

— Чего надо? Ты чего-то недопонял? — неприязненно бурчит сотник. — И почему не по форме обращаешься?

Гавриш подошёл почти вплотную.

— А вы, пан сотник, зи мною — по форме? Якэ вы мάλы право мэнэ торкаты пры рядовых? Я вэз ж сэргант!.. И ще ображаты...

— Ображаты? — топырит губу Борятьев. — Это я тебя не оскорблял. Это я тебе ещё комплимент сказал. Это ты потом узнаешь, как я крёю... У себя, в своём городишке Збараже будешь быковать или откуда там ты сюда объявился, весь такой резкий! А у меня ты будешь шёлковый... И иди, иди, не зли мне характер.

Сержант отряхивает дорожную пудру со штанов сзади и нахохленно пялится Борятьеву куда-то во вторую пуговицу на куртке. В глаза не решается глядеть.

— Я рапорт подам. В штаб батальону, — выдавливает он гортанно, будто бы без помощи зубов. — Вы нэ маетэ права зи мною так... И ще докладу про тэ, що обмэжуэтэ нас, колы мы колорадив гнобымó.

— Докладай, докладай, Гавря. Я таких докладчиков уже имел... — Сотник решает спрятать кулаки в карманы штанов, не уверенный в себе. — А про то, что я вас ограничиваю в вашем произволе, мы ещё поговорим. — Борятьев всей тяжелой статью покачивается — с левой ноги на правую, с правой на левую. — Вы, сучье стадо, тут страну защищаете от кацапских банд и их охвостий? Или свои делишки решаете? Думаешь, я не слышал, как ты утром, на привале, откровенничал с Тюриным? Базлал что-то в таком роде: “Где ещё в Украине можно теперь безнаказанно трахать любых баб, брать всё, что понравится, из любого дома! здесь можно снять с груди у попа золотой крест, и ничего за это не будет, кроме ордена!.. Да, сэпары могут и конуть, но уж такая судьба; кто не рискует, тот... не рискует!..” Или скажешь, что такого не говорил?

Сержант пожимает плечами.

— Ну й що? Так багато хто думает. И хто мэнэ за цэ засудыть?

— Я осужу. И тебе этого будет — с верхом, по горлышко... В бою-то ты не такой лхой. Я ж вижу, как ты всегда за углом ховаешься или по ямам, когда остальные на сепаратов идут. — Борятьев понимает, что пора прекращать воспитательную беседу. Авторитету не способствует. Это не его, сотника, дело. Есть Павлоченко, взводный, пусть и воспитывает... Но не может не поддеть: — Хотя, чего ещё от тебя ждатель? Бандеровец!

У Гавриша достаёт смелости поднять глаза. С ударением:

— Ну, я — бандэривец. А вы щось протыв маетэ? Бандэрици — найперши патриоты Украины. А про тэ, що я ховаюсь дэс у бою, цэ ще доказаты трэба. Вы свидкив нэ найдэтэ.

— Зачем мне какие-то свидетели! — подсмеивается Борятьев. — И кому доказывать?.. Ты запомни, Гавря, я для тебя — и следователь, и исполнитель приговора. И никто не пикнет.

Посчитав, что разбирательство окончено, собирается продолжать обход. Не удержавшись, ставит окончательную точку в воспитании. Или несколько точек:

— Ты, Гавря, рано хвост на дядю сотника решил поднять. Ещё одно кривое слово от тебя услышу — инвалидом сделаю на всю жизнь. Руку ты мою должен был запомнить. С того, первого боя, у Ясногорки. Помнишь, как я твоего дружка, Тюрю, приложил? Когда он, гнус, вместо того, чтобы драться с бандюками, шедшими на нас с северного боку, свою доблесть перед

безответными бабками и детьми села выказывал, пугая выстрелами в землю у их ног... И ещё... — закрывает от солнца правый глаз, смахивая с лица комариный балет. — Давно хотел спросить по другой теме: а чё ты, Гавря, тут из себя казака запорожского строишь? Чуб-оселедец отрастил. Как бы — по стилю, потому что в Украине сейчас это в почёте? — он улыбается, но улыбка — из триллера. — Какой же ты казак? Они православными были, а ты — униат. Я ж знаю! Это как раз казаков из-за оселедцев и стали дразнить “хохлами”. А ты ж у нас не хохол, а бандеровец. Как же! Вы ж — белая кость, совесть нации, вы ж хохлов и за полноценных украинцев не считаете! Тогда зачем рядишься, мразота?

И, не собираясь слушать ответ, гремит подкованными подошвами к сгружаемым с КамАЗов ящикам боекомплекта.

“Никуда эта бандеровская сопля рапорты писать не будет. Шакал, как и все они... А вот пулю между лопаток от него в бою я могу заработать... Впрочем, на то и бой: пуля может залететь откуда угодно — что от Гавриша, что от бандочеллы донецкого...”

* * *

Сотня как-то обустроивается на ночлег. Неторопливо и не основательно. С новым докладом по пути заворачивает Бейбас. У него темнеют потные пятна на спине и у ворота.

Подсчитал, что в селе найдено двенадцать трупов; в основном — старики. Лишь одна — девка. Боевиков не нашли. А дохлого скота — без счёту.

— Хорошо, позвоню Ворощуку в штаб. Скажу, чтоб бульдозер подсылал. Будем ховать. У нас третий взвод сегодня меньше устал, чем другие; так скажи им, чтоб все трупы стаскивали по ту сторону шляха, подальше, чтоб не подцепить заразы. Раздай медицинские маски и прикажи взводному проверить, чтоб все они после перетаскивания помыли руки с хлоркой. А я начну ставить второй взвод в охранение.

Заместитель устало козыряет.

— Бу сделано, Анатолийович.

Борятьев последовательно осматривает всего осунувшегося зама.

— Что, Валера, притомился?

Тот немного играет в браваду:

— Та с чего бы, сотник? Усё в порядке. Свеж, як огурец, — и кривоизубо лыбится.

— Ну-ну, — шелестит присланными штабными циркулярами Борятьев. — А как дела дома? Тоже всё в порядке? С родными общаешься? Что там у вас?

— Ничо́го особльвого, — Бейбас садится напротив командира, закуривает тонкую дамскую сигаретку. — Бизнес йдэ погано. Люди всё реже заказывают новы окна. Грошэй нэ хватае... Зато вдома — полный ажур. Донька в этом учебном годе будэ школу кончаты. Она в мэнэ отличница, на золоту мэдадь йдэ...

— Ну, пруха тебе! — откровенно грустит Евгений. — Не то, что мои.

К югу от Тореза. 27 августа 2014

Для ремонта батальонного мотохламья юному технику Дивайсу обычно выдают троих-четверых подручных из пленных. Сейчас же — лишь двоих, затащенных в правительственную армию по мобилизации или, в фольклоре, “могилизации”.

Угрюмый мужлан с кустистой шеей, по которой механическим поршнем ходит рабоче-крестьянский кадык, Пилип Горишин, из трудяг, судя по шишкам мозолей на исковерканных руках. Ноги в чужих растоптанных ботинках. Всё на нём чужое, свободно обвисает, хлопает от движений.

Проговорился, что по домашней профессии он сварщик. Вот и попал к Дивайсу. Откуда приехал — молчал (ну, большей же военной тайны не бывает!).

Кому какое дело здесь, откуда кто приехал! В стране уже давно никто не разделяется по адресам, лишь — по мечте.

Другой же — тёплый, желтоволосый, совсем одуванчик, мальчуган, призванный в Ковеле, именем Мусий, для ополченцев ставший Муськой. Всегда в разговоре кивает, настолько часто, что лишь удивляться остаётся: как только позвонки выдерживают! По стандарту вольнян, говорит на протяжном украинском, через фразу вставляя польское раздосадованное “холера!”, когда что-то не получается; быстро ест то, что дают, даже заметить никто не успевает, как он вычищает пластиковую мелкую тарелку, зачем-то обязательно моет в конце минутной трапезы, будто её собираются вторично использовать. Ещё исхитряется немного из еды прятать в карман, чтобы позже подкормить тварину из кода набежавших дворяжек или облезлых кошек, оставшихся в войну без хозяев; те сгнули или убрались из этих проклятых мест. Ополоумевшие животные хромой, осипшей оравой сбиваются со всего края, жмутся к людям, каким угодно, лишь бы к людям; иначе — гибель.

— Муська, имья в тэбэ како-то жидовське, — сонливо допытывается Дивайс посреди собственного перекура, сидя на ящике, облокотившись о задний люк добытой ещё в июльском бою давно устаревшей БМП. Муська воздерживается, потому лежит рядом, покусывая стебель дикого житняка. Над ними оскальваются руины, когда-то называвшиеся районной машинно-тракторной станцией.

— Мусий... Это ж Моисей. То есть Мойша. Ты, часом, не из этих?..

— Та ни, — улыбается мобилизованный вольнец, отмахиваясь, как от мошкеры. — В нас Мусийив забагато. То ж хрыстыянське имья. А вы, панэ Дывайсэ, з руських?

— Можно и так казать. Мал-мал и белорус. Мамка — бульбашка, з-под Витебску... — Дивайс сглатывает табачную горечь. — Усе мы — русские, з Киевской Руси. И ты тож.

— Дыво́во, — дивится Мусий. — А нам у школи нэ так пояснювалы... Чого ж мы воюемо? Якшо мы уси руськи...

— Да, воюем, и это наша, унутрянна вийна, меж русскими, и з твоей Вольни, и з Слобожанщины, и з Курску, и з Мурманна или, положим, з острова Сахалину... На мою думку, пиндосы с Европой так хотят. Шоб мы меж собою резалися. Чем нас, русских, меньше, тем им жить просторней. Та й пиндосам и у Европе бы драчка не помешала, та й везде вокруг них, шоб казалось, шо сами они живут, почитай, в последнем затишке на земле, шоб усе денюжки мира к ним плыли, шоб самим жирнеть з того... Ну и, известно, им надо придавить Русь потому, шо их усе бояться... — Дивайс обрывает окончание посылы, отряхивает с себя сонность и разморенность и, загасив о броню остаток сигареты, возвращается из аналитического дискурса, а вместе с этим объявляет завершённым и перекур. — Ну, будет, пошли. Нам заменитель для гидромеханики реверсной передачи дизеля дэсь шукать надо, и левый трак натягивать. Придётся натягивать вам двоим. Я не смóжу: у меня дырка от прострела у шеи ще свежа, болыть... Я лучше тормозной механизм слева буду перебирать... Де твой однополчанин? А ну, шумни его!

Муська, всё ещё мутирующим мальчуганьим голосом зовёт престарелого сварщика, заснувшего в тени развалин:

— Пан Горышин! Йдэмо працова́ты, пан Дывайс клы́че.

* * *

Утро блестит, горизонт размыт, пелена нагретого воздуха колышется зыбким маревом. В накаляющемся небе идут соки земли, вся её страсть. Поле вокруг дышит.

Высушенные солнцем подсолнечники. Каждый боец хотел бы семечек, но никто не пойдёт — остались противопехотные подарки от нацгвардии; она тут неделю стояла, мало ли чего припасла для сменщиков...

Ольховой не спал всю ночь, живёт вчерашним, ворочает сейчас это вчерашнее в тяжёлой голове.

Вчера, ближе к вечеру, ездил в горбольницу со списком; Довгало договорился с главврачом. В палатке Ольхового всё заканчивалось, особенно анестезия и пенициллиновая группа, и шприцев — лишь полкоробки, а это на день, ну, на два.

Батальонный дал свой “бобик”. Николай согласился только на Шлыка шофёром. Другие — не здешние, всех троп тут не знают. При этом на Шлыка можно положиться, как ни на кого: наученный, внимательный, слушает каждый шорох листа. Когда надо — взрывающийся, когда надо — неторопливый, всегда занимает верную позицию для стрельбы; отстрелявшись, прикрывает прикладом у себя то, что обязательно надо прикрывать. Если бы Ольховой не знал предысторию этого цыганского отродья, то был бы уверен, что оно заканчивало диверсионное отделение спецучилища, настолько это отродье было приспособлено под войну. И стреляет — на загляденье, и пустыми руками умеет, а также ножами, лопатами, палками и всем остальным, что выхватит конокрадский глаз, к чему можно дотянуться. Такой ролью жить надо!..

Загрузились в больнице нужным и стали осторожно выезжать из госпитального двора, который целиком заняли раненые в больничных пижамах, а дамы — в легкомысленных пеньюарах. Все, наверное, до одного, вышли из корпуса, кто мог ходить, чтобы глотнуть остывающего к вечеру воздуха.

Машина выезжала за ворота. Ольховой и на улице, вдоль квартала, увидел немало гуляющих в пижамах и исподнем. Те, у кого ещё оставались гривны, выжидали в очереди к продуктовой лавке на углу улицы — конфеты-суфле, воды-пиво, яблоки-бананы. Не ругались, как обычно в очереди, а, видимо, неторопливо вели среди своих политинформацию и делились вестями с полей.

Шлык уже собирался проезжать перекрёсток, как Ольховой услышал на высоте, в подлёте, развязный и тонкий звук мины, среднего диапазона. Вдогонку — другой, побасовой. Услышал и Шлык, потому что рывком ускорился, послав в непристойном направлении все базовые правила, через встречное движение в запретный для проезда переулок. И сразу же сзади детонация раскромсала пространство.

Оба обернулись. Вслед догонял хлористо-красноватый клубящийся ком воздуха, собравший камни, землю, фрагменты взорванного перекрёстка. По “бобик” посыпалось и стекло, и древесная труха. На капот бахнула с оторванной ударной волной ветка каштана, потом — кровавый обрубок в лоскутах ситцевой пижамы.

— Вот нам и подарунок от укропов. По больничке целили, пацаны! Да тильки в них руки не с того места растут, ничего не умеют, даже попасть. А потом ще скажут, шо то мь пуляли.

Николай высунулся из окна. Больница вроде бы задета не была, а на месте лавочки и очереди — следы взрыва... Оттуда шёл уже чёрный дым. В прогалинах можно было видеть несколько разодранных в стружку тел на тротуаре и на дороге. Загорелся ИЖ-“каблук” у киоска, на заезженной резине своих четырёх колёс, — стоял тут, верно, для подвоза товара. Уцелевшие люди, сметённые психозом, уже стойко засевающим в них за последние три месяца, семенили, рвались — кто куда. Безумный вой женщины, упавшей на колени от увиденного; ноги не держали...

— Стой, мне надо туда! Останови! — Николай дергал Шлыка за рукав. — Там же люди!

— Та ты дребанулся, штоль, Богданьч! Убитым ты вже не допоможешь. А раненых и без тебя больничные соберуть! — Цыган яро выдёргивал правую руку из вцепившихся хирургических пальцев. — Да отпусти ты! Я ж так вести не могу. — Потом как-то извинительно: — Я не маю права останавливаться. Пойми ты, мне Голова сказал сурово: только в больничку и обратно. Не останавливаться ниде, даже если дождь пойдэ з укроповских знамён. Даже если ихний президент на дороге сам буде стоять и голосовать попутку. Не маю я права... Нам с тобою, Богданьч, сейчас погибать не можно. Тебе ещё стольких залатать надо! Впереди война длинная, пацала! А мне... мне ещё много чего нужно сказать укропам...

Ольховой дословно вспоминает Шлыка.

Николай всегда резало это — “укроп”. Как затуплённым консервным ножом разрезало. Все не-украинцы в движении Отпора так называют: и местные, и донские казаки, и горцы, и русские с Печоры, и русские с казахстанских просторов, и втянувшиеся в ополчение прибудды с атлантических берегов. Украинцы же в ополчении, понятно, не могут так небрежно о вчерашних своих, по ту сторону поля, поэтому подбирают синонимы, как угодно: вуйкó, бандера, свидомйт. Ну, и “нацик” — универсально для всех в Отпоре.

Уже через неделю после появления здесь, ещё в начале лета, Ольховой не сдержался, спросил кудрявого комзвода Затохина, промышленявшего до войны уличной рекламой на щитах в Донецке:

— Так я тоже, по-твоему, укроп?

— Т-ты... ты шо, Айболит! Бог с тобою! Який же ты у-укроп! Ты ж наш, украинецъ, — начал пристыжено выводить заикания взводный, и, ступевавшись, как бы выпрашивая о снисхождении: — Т-та в мэнэ жинка напов-українська. И сам я...

Теперь, сидя у палатки и снова проживая вчерашний удар миномётов, Николай вдруг задумывается, о чём не часто думал — о национальном, родовом.

Его это почти не касалось в той, прежней, очень давней жизни. Да, любил песни, до дрожи рук. Часто ставил на проигрыватель старую, ещё сороковых годов пластинку Оксаны Петрусенко, на 78 оборотов, “Ой, не світи, місяченьку, не світи нікому”. Родители показали. Сердце обрывалось и останавливалось. Пластинка была заезжена всеми поколениями Ольховых посредством граммофонной иголки до такого состояния, что через неё под конец можно было рассматривать солнечное затмение... А ещё был Анатолий Соловьяненко — “Чом, чом, земле моя”, Паторжинский...

Всегда в потаённых закоулках чего-то, что всеу принято называть душой, тепло ёкало, когда читал или слышал о людях, одного с ним роду-племени, дошедших до самых вершин в державе — былой, большой, которой уже нет. Кто-то стал первым министром и канцлером Империи, кто-то — министром обороны Союза, потом ещё один. Кто-то вырос в величайшего биофизика, кто-то разрабатывал самые первые и самые дальние в мире ракеты, а на чьем-то режиссёрском новаторстве учат и по сей день киношников всех континентов.

Но на этом всё-таки слишком не залипал. Последний год в школе был отдан только сверхмечте. Хирургии.

С чего началось такое наваждение, уже не помнил. Пошло всё, вероятно, с той операции, которую он в пятнадцать лет прочувствовал на себе самом. Прочувствовал не саму операцию, уточнял, а её последствия. Приведение в норму скривлённой с материнских родов одной из лодыжек сделало его совершенно полноценным. Настолько полноценным, что навечно были забыты детские унижения и подавленность от того, как его щадил на физкультуре в школе, как он никогда не играл мячом с дворовыми в “штандер”. Настолько полноценным, что без каких-то оговорок потом прошёл медкомиссию в академии.

Видимо, в месяцы перед операцией и после он восхитился строгим очарованием труда своего хирурга, Вилена Игоревича, собранного, всё на свете прочитавшего, пунктуального, ироничного; подростка Колю Ольхового задевал вызов этого занятия — спорить с анатомией, исправлять то, что запущено или испорчено.

Так что с тем, на кого учиться, было определено давно. Никаких подтачивающих сомнений! Лишь вопрос: где?

Немного разобравшись в окружавшей жизни, понял, что врачи в стране — не самое привилегированное сословие, и зарабатывают плохо. Тем более, что под конец школьной беззаботности из семьи исчез папашка; ушёл, вылившись на прощание нелепой и затянутой, покаянной речью. О маминей же одинокой поддержке и разговор не шёл: она б не сдюжила тянуть сы-

на все годы учебы в медицинском (а годы эти дольше, чем в любом другом институте...). Так что, как ни соображай — только военмед имени Кирова, на полный казённый счёт. И после академии... Тогда офицеры ещё получали пристойно; пристойней, всё-таки, чем цивильные коллеги.

* * *

Из мыслей о вчерашнем и своих началах его извлекает ассистентка. Вокруг всё ещё скрипит и нехотя бухает дальними взрывами война.

Фельдшерница привела немного покалеченного в сегодняшней быстрой свалке с разведывательным взводом тербатальона “Хорбл”, грязного по шее солдата. Многозначительно улыбается. Не по поводу пациента. По совсем другому, ясно.

Втолкнула в палатку страдальца. Ольховой заторопился вслед.

На сей раз предстоит вправлять вывихнутый локтевой сустав. Вправлять незнакомому бойцу, не только грязному, но и вонючему, обветшалому, мелкому, измазанному кровью, хотя, по всей видимости, не своей.

У входа в палатку Оксана шепнула Ольховому в ухо то, что ей сказали привезшие о покалеченном.

— К вам как обращаться, друг?

Обветшалый трясётся от боли, смотрит на врача затравленно.

— Кирия. Шерстобитов.

— А сколько вам лет, Кирилл? — старается Ольховой подбрее.

— Тридцать восьмой пошёл...

— Быть не может! — Меняется лицом хирург. — Я думал, ты старше меня. А мне ведь уже хорошо за сорок.

Шерстобитов перестаёт трястись и осторожно кладёт вывихнутую руку на толстый лист фанеры, подразумевающий операционный стол.

— А вы, доктор, поработайте в шахте семнадцать лет кряду, так я погляжу, на сколько вы будете выглядеть. Я ж горняк в трёх поколениях, с Енакиева.

Николай смотрит на бедолагу с сожалением.

— Чего ж ты воевать пошёл, горняк? Мне Оксанка сказала, что твой командир тобой не очень-то гордится. Ты и стрелять-то, по его словам, до конца ещё не научился. Автомат, вон, весь покóцанный. Я ж — военный. Вижу, не бережёшь его. Это ж не за сегодня ты всё цевьё ободрал, ремня нет, в стволе трава торчит...

— Чего я воевать пошёл? — Глаза у горняка разливаются карим несчастьем. — А вы б не пошли воевать, когда вашу племяшку, ещё школьницу, спаскудили трое бугаёв из нацистской гвардии в Мариуполе? Поймали на улице, затащили в бойлерную под разбитым домом, и понеслось... То ли все вмазанные были, то ли накуренные. Ржали всю дорогу промеж друг-дружкой на непонятной мове, лицо племяшке изрезали... Сейчас она в “дурке”, лечат, она после того случая дважды хотела с крыши стребнуть, еле успевали за руку ловить... Сеструха моя — в милицию, а ей там: нужно лучше за дочкой следить... Дело отказались заводить. — Шерстобитов непокалеченной рукой смазывает с грязного лица мокроту, безвольно сочащуюся из глаз. — А вы, доктор, спрашиваете, чего я воевать пошёл! Автоматом моим прекратите... Да вообще — доманали они меня, до самой хребтищи! Вы бы не пошли воевать, когда вас за скотину принимают! Те, с хунты. Когда учат, как надо Украину любить, будто я без них не знал! Когда заставляют по-ихнему молиться и думать! Когда пообещали всех недовольных “новбю владою”, ну, хунтой, всех в шахтных кóпанках засыпать! Вы бы не взяли автомата?

Хирург внимательно изучает куртку горняка.

— Сам сможешь снять?

Тот опасливо вертит головой: не-а.

Николай начинает резать правый рукав камуфляжа огромными ножницами закройщика, наточенными о бульжник.

Вправил сустав быстро. Шерстобитов жмурился с силой, боясь живодёрских мук. Добела накалённая боль и прожгла его всего, но лишь моментом. А затем, сразу же — успокоение; он с нескрываемым идолопоклонством смотрел на избавителя...

Когда подправленный горе-комбатант уплёлся, Оксана рассказывает, что приходили от Головы. Тот “велел негáйно прибыть”.

Ольховой налаживается на поиски: Довгáло на месте не сидит. Вероятно, сейчас зовёт из-за тех двух захваченных важных бандер, которых ещё вчера должны были привезти из-под Кутейниково; у одного из них, как говорил батальонный, нога — чуть ли не на ампутацию...

Николай видит батальонного в тополиных тенях, у архивных, мало дееспособных гаубиц — их после Отечественной не использовали, лишь недавно привезли из городского сквера, даже защитная покраска ещё не поскреблась. У экспонатов гудит и посмеивается расслабленный, полураздетый штурмовой десант, покуривая, попивая по кругу воду из пластмассовой бадьи.

— Ну, мы со Скоморохом, ёпсть, швыдко в сторевший дом и впрыгнули, — начинает различать Ольховой, подходя ближе. Вещает ополченец с гладким лицом, без рубашки и майки, подставивший спину и татуированную шею солнцу под загар. Хирург, потряся свою память, как пыльный ковёр, не враз, а по буквам выбивает из неё позывной вещателя: В-е-п-рь. Один из старожилков, бьётся с самого начала, добрался мопедом-пешком из Чернигова, на окладе футболит за город. Ольховому говорили, что стреляет Вепрь — как дышит, в любом положении, при любом освещении, а ногами дерётся так, что и рук не надо. В его, вепревом, перечне уже полсотни значительных пленённых врагов. Служит в знаменитом отряде захвата, под началом самого Скомороха. О них стали слагать сказания. — Впрыгнуть-то впрыгнули, — слышит Николай уже отчётливей, — а там четверо укров, из передней розвидки, ёпсть. Ну, двоих мы тут же уконтрапунили, один оставшийся пытался убегти, ёпсть, но Скоморох ему стрельнул по ходулькам. А второй, оставшийся, уже собирался дёргать за гранатную чеку, ёпсть, я еле успел нажать на курок...

— Не мог ты на курок нажать. — Довгало не в духе, примериваясь уходить. — Курок у автомата чи пистолета, то такой механизм ударного бойка, як молоточок, бьёт по капсулю. Курок так звэться, бо вертит при ударе наконечником, як жива кўрка головой. Но его ж не видно, сука, он внутри корпуса. А то, за шо вы все стреляете, то бишь на шо нажимаете, звэться спусковым кручком, або спусковой скобой... Говóрю это вам всем так, для вашей общей интеллигентности.

И замечает Николая.

— Пишлы, Айболыт. До тэбэ е справа.

Ольховой пожимает батальонную руку.

— Какое дело? Привезли, наконец, тех двоих нацев? Ну, по поводу плохой ноги у одного из них...

— Та ни, ще не привэзлы, хай йим грэць!.. Наши хлопци звóнять, говóрят, шо не можуть побытыся, усюды посты нациков, сука. Вночі змогли тильки задами, огородами пиддыхаты до сэла Благодатного. Може, як будэ тэмно, спробують пройихаты напрямкы чэрэз полэ. Пёхом нэ выйдэ, сука. Той старшой, з схваченных, який хóдыты нэ може, такый хряк мощный, шо його на руках нэ понэсты... Ладно, будьмо й мы ждаты, хлопци чогысь надумають. А поки шо — тоби трэба глянуть того, шо Вэпрь со Скоморохом прыволоклы. Чув, шо Вэпрь казав? Нацику ноги прострэлылы, щоб нэ вбизав. Тэпэр плаче, сука нацгвардийська, як дитяча мала. Так ты глянь — шо да как. Пули повытаскуй. Помажь там чым-нэбудь... Ну, нэ мэни тэбэ учыты.

Они идут в сторону жалкой, никудышной рощицы, стыдливо прикрывающей, будто с бока зачёсаный локон, проплешины голой, как череп, запущенной пашни. Даже не рощицы, а чего-то весьма прозрачного. По пути комбат матюгает бойцов, которые устроили склоку по поводу того, кому закапывать трупы брошенных тут нацгвардейцев.

Перед тем, как батальон Довгало занял позицию, её держала рота правительственных внутренних войск, присланная аж из-под Ивано-Франковска. Костяк роты — о чём говорила стрельба — был свидетелем, идейно-выдержанным, дрались до того, пока не закончились припасы для боя. Но, к удивлению старослужащих Отпора, укатывая отсюда на запад с пустыми патронниками, почти сохранив свою технику (лишь пару бронетранспортеров с сожжёнными в лохмы покрышками отдав нападавшим), остатки роты не стали, как раньше, забирать polegших сослуживцев. Оставили всех, даже ещё шевелящихся, не схоронив убитых, на ночную потребу лисам и воронам.

— Как теперь убежденные будут смотреть в лицо родителям? Родителям тех, кого они тут побросали... Они ж все, понимаешь, с одних и тех же сёл и посёлков, — с выплзшим знобящим страхом спросил подпалённый в том бою ополченский воин-чулымец, меткий охотник на соболя, узкоглазый, не по-славянски круглолицый, с позывным Харакири, приехавший стрелять откуда-то из-за Енисея и после боя попавший к Ольховому на обработку ожогов. И думал охотник, наверняка, в тот миг о себе, окажись он на месте брошенных. — Как они могли так со своими же?

— А ось так и могли, — тяжело ответил Довгало, пришедший проверить, как устраивается хирург, сразу же после установки госпитальной палатки. — Цё вам наука.

Семён Довгало, под которым и служит Ольховой, при приезде того в расположение, в июне, перво-наперво самым подробным образом выспросил всё у военврача. Спрашивал даже о сокурсниках, спрашивал о тех, с кем знался на последующей службе, номера госпиталей. Потом всё это, безусловно, проверялось спецотделом движения Отпора.

Но, чтобы не показаться мнительным, кое-что рассказал Ольховому и про себя. Вроде бы, получалось взаимное глубокое знакомство.

Приехал Довгало, по его быстрым показаниям, от самой Матери городов русских, из спящих и заштатных Броваров. Вчерашний... — ладно, пускай, позавчерашний — инструктор огневого контакта в милицейском училище, готовил и парней из “Беркута”. Новую власть поклялся уничтожить после поджога его выучеников зимой на Грушевского, улице Институтской и Европейской площади, за “беркутов”, поставленных на колени во Львове и Ровно, за филаретов-денисенков, самозванцев, раскальвающих православие Руси, за бандер-униатов, схвативших страну за горло, не просто не скрывающих, а кичащихся своим омерзением от схи́дняко́в — и совсем не кацапов всяких, москалей, а таких же украинцев, которые на востоке, — омерзением от манеры говорить, от раздобревших форм, от православия, посмеиваясь: “их бородатые попы ладаном провонялись...”

— Ты чуешь, Айбольт, они ж нам гово́рылы напрямкí: вы — недоделки, низшая раса по отношению к захиднякам, западнцам, греко-католикам, щирым европэйцам, не знавшим крепостного права. Всех, хто восточнее (даже годовалых дито́к!), записывают в алкоголики... Ещё бы: в Галиции ж алкоголизм неведом! Там же одни ангелы летают и питаются тильки цветочным нектаром!

Для Довгало, давно разменявшего пятый десяток жизни, вдруг стало совершенно очевидным:

— Захидняки — не украинци, зóвсим нам чужи, они ж точили, оказывается, на нас ножи вси симдэсят чотыри роки у составе республики.

Он с удивлением припомнил свою дембельскую связь с Хры́стей, Христиночкой, колдовски красивой девахой из Старого Самбора, говорившей на лемковском искривлении мовы. (Уходил со срочной в запас с лесной заставы на самом начале Днестра). Помнится, тогда у них двоих всё складывалось, даже женихались...

Про семью свою ничего не говорил, держал в себе. Вряд ли кто в батальоне что-нибудь знал.

...Звонок от комбата:

— Айбольт, давай у штаб! Ну, который в столовке... Хлопци бандер привэзлы. Я тож зараз туды йду, — Довгало был краток.

В столовке-штабе-складе электричество не появилось. Да и с какой стати? Тужатся бензиновые копилки и пара шахтёрских ламп.

Одновременно подошедшие комбат и хирург протискиваются через неорганизованный хурал ополченцев, окруживших звёзд группы захвата и привезённых ими двоих гостей.

Сквозь подрагивающие длинные тени частями высвечен ужаснувшийся пляк нечёткого возраста. В натовской форме без погон цвета кофе с молоком; вся в защитных разводах, она скроена для боёв в пустынях Месопотамии. Найманец сидит на корточках, потёкший, в чаплинских усиках и торчащем дикобразе коротких волос. Сразу же начинает для Довгало более-менее произносимо ведать о себе по-русски, быстро перескакивая со слова на слово: Рафал Жимчак, город Познань, по набору, хорунжий в отставке, командир танка, записывали в легион в Варшаве, улица Доманевска, записывал какой-то американчик, флотский (даже представлялся, но не удалось запомнить), в джинсах и форменном пуловере с надписью “корвет Vanquisher”, две тысячи восемьсот долларов в месяц, двухгодовой оклад семье в случае гибели, в Познани работы мало, платят чепуху...

Трепещет, сопливится, выклянчивает жизнь.

Второй — здоровущий, на порядок больше любого присутствующего, с острой под машинку головой, потный толстяк, в обычной форме, не пустынной. Его посадили-положили в валявшееся на полу пассажирское кресло, открученное из автобуса.

— Ну и бизон! — знакомо кричат Довгало, рассматривая. — Такого заместо трактора нужно в плут запрягать. Справиться не хуже...

Форма гиганта в проколах и забрызгана, но по вороту и по берету видно, что облачение новое, недавно со склада. Мало ношенными выглядят и высокие кожаные ботинки, с подкованными каблуками и носками, на четвёрке ремешков, не на шнурках.

Толстяк — с разодранной от бедра левой ногой и задетой рукой. Левый бок тоже побит. От боли бизон кривится, заламывая губу. Увидев подошедшего и склонившегося к нему старшего из хозяев (как можно заключить из уверенной повадки бородатого низенького качка), и особенно того, кто пришёл с командиром, у него с лица почему-то сходят страдальческие очертания.

Он, как заколдованный гипнотизёром, прошёлся застывшим глазом по комбату, чтобы потом медленно перевести на Ольхового и так свой открытый глаз закрепить на всё последующее время.

Николай рассматривает вблизи разбитые в драке лица обоих пленных, исследуя темноту подкожной крови. У бизона совсем заплыл другой глаз, верхнее веко отекло.

— Нашу мову розумиешь? — Довгало ему. И для чего-то переводит: — По-русски понимаешь?

Громадина, иссохлым языком зря облизывая треснувшую губу, отвечает едва различимо, присвист, как проколотый мяч, испускающий дух:

— Самый глупый вопрос, на который в жизни мне приходилось отвечать...

Ольховой едва ухватывает начала слов, а слабый на ухо Довгало совсем ничего не может разобрать.

— Я спытав тэбэ: з якых будешь? Тэж лях-ляшок?

— Я не лях. И не ляшок. Я украинец, в отличие от вас, — бизон еле раздвигает искусанные и разбухшие губы.

— Ты глян! — изумляется Довгало. — А по-русски говорыть краще, ніж я сам... — Обводит окруживших его степняков повеселевшим взглядом. — А ты, хлопак, часом, не з России? А то я вже бачив таких. Сам русский, а за нацистив воюе!.. Начальну подготовку тут проходишь, щоб у Росии пótим повоюваты?

Толстяк слабо шевелится, поглаживая разорванную ногу значительно менее разорванной рукой.

— Я уже сто раз говорил вашим подчинённым, которые меня сюда тянули. Я украинец. Здесь родился и вырос. Чего вам ещё от меня надо? Мои документы у вас.

Ольховой внимательнее рассматривает сидящего на автобусном кресле исполина. Изучает не столько продранные борозды в застывшей крови на его ноге, сколько лицо. Голос толстяка просто ударил Николая, даже ненадолго поплыли в глазах остывающая накануне ночи земля и полукруг бойцов, обступивших его и комбата, и обоих пленных.

— Семён Данилыч, — он отзывает Довгало в сторону, — если по внешнему виду, то того пшeka не задело, и моя помощь ему не нужна. Пусть ему просто дадут умыть его польскую рожу холодной водой, и со временем у него табло выправится. И, в целом, пусть помоеется... Хотя нет ли у него болевых симптомов помимо тех, что появились от того, что его наши орлы отметелили? Я его позже посмотрю. А вот у бизона нужно сейчас же быстро в ранах порыться, чтобы не началось самое скверное. На первый взгляд — раны поганые.

— Да, конешо, Айболыт. Негайно забырай його. Повторюю: вин нам потрібен годный, не хворый, не покалеченный. У нас на нього вэльки планы. Йим персонально наша спецюра займэться. А потім... Або будэмо його показуваты телевизионщикам закордонным, як до́каз того, хто проты нас воюе, або зминяе його на когось-нэбудь з наших. По званию можемо, на́вить, його на Конопенку зминяты... А шо? Конопенко був у нас замом начальника контррозвідки, у полон ще в минулому мисяци попав, у бою пид Северском, а цэй бизон, як мэни доклáлы, у них зараз служив по звязку з закордонными розвідслужбами. И був сотником каратэльного батальону, шо шов на Донэцьк.

Ольховой ещё раз оценивает гиганта.

— Давай, Семён Данилыч, подгоняй сюда машину, и пусть парни его грузят. Они его на руках в мою палатку не донесут... Мужчина, видать, центнера полтора весит, если не больше... Ч-чёрт, боюсь, стол его не выдержит...

* * *

В медпалатке — привезённый полторацентнеровый пленный и хирург. Настороженно-внимательно рассматривают друг друга.

Николай до этого отослал незаменимую Оксану за дополнительным освещением; керосиновые лампы, электрические фонари, стеариновые свечи — всё сгодится. Пока же он подносит к оплывшему лицу толстяка автослесарный светильник, питающийся с обычного аккумулятора, который достался от распоротой пулемётном малолитражки — накануне везла харчи батальону.

— Жетон? Женья?.. — Ольховой заговорил глухо, будто из-под одеяла. Даже сам удивляется не совсем своему голосу. Зубы постукивают, губы подрагивают. Руки тоже. — Борятьев? Неужели ты, Женья?

Раненый, мигая, смотрит одним глазом в лекарвы оба, корёжа в ухмылке черту разбитого рта.

— Да, Коля. А я вот сразу узнал тебя. Всё такой же подобранный, прямо как выюноша. А к нашим годам мужики, чаще всего, раздаются в животе. Пивко, ничего не поделаешь... Сколько же лет прошло, выюнош!

Ольховой пробует считать.

— Да уж, верно, не меньше тринадцати. Если помнишь, я в начале нулевых годов приезжал в Черкасы. Последний мой приезд, на сей день. Попаду ли ещё?..

— Да, припоминаю. — Огромный мужчина слабо шевелит посечённой рукой, которой он всё потирает то бок, то разорванную штанину над коленом. — Ты тогда со своими одноклассниками выпивал. Если б я случайно не заглянул в наш шалман “Якорь” (у меня там была назначена, помнится, встреча с одним из торговых партнеров), мы б с тобой тогда и не увиделись... Ты, как я помню, был во всём партикулярном, но говорил, что офицер, в отпуске, служишь в русской армии. Что-то по медицине... — Открытым глазом обводит собеседника всего, по линии силуэта. — Так... Значит, вот в какой ты армии!

— Я уже давно, Жетон, не в армии. Уволился. — Ольховой опускает фонарь, чтобы не пережечь этот пока один, видящий глаз пациента.

— Но всё ж костоправишь, как выясняется. И у кого!!!

К югу от Тореза. 28 августа 2014

Командир батальона для охраны израненного пленника подсылает Ольховому немногословного солдата, твердокостного, недавнего комбайнёра агрофирмы из-под Старомлиновки, одной из первых захваченной галицийской “гвардией”. По виду этот бывший аграрий — в норме, нетерпеливо играет предохранителем автомата, то переключая на стрельбу очередями, то на одиночную, то на стопор, то снова на очереди.

— У-у-у, ну и темница! — поговаривает и пощёлкивает.

Проходя мимо, однако, Николай отмечает едва уловимый запах. Внимательно осмотрев глаза сторожа при свете ночника, хирург понимает, что эс-комбайнёр несколько в подпитии.

На малое злоупотребление в батальоне Довгало смотрит если и не с одобрением, то с пониманием; наказывает, но не больно — сам не абстинент. Всё ж можно и выпить для того, чтобы в чувство прийти в перерыве между атаками. Не колотья же! Это пусть вражина колется. Как накануне взяли у деревеньки за аэропортом нацистский пост, по которому всюду шприцы на дне окопа лопались под каблуками.

Но не приведи Господь, что батальонный делал, если по вине перепитого воина случался сбой, не говоря уж о большой беде! Во второй роте каждый помнит особенно тягостное утро 16-го августа в полчетвёртого, когда уже сивушно-невнятный и засыпающий Бомбила на засаде охранения не зажёг три диверов, осторожных диверсантов, вырезавших ножами караульных у подвала с арсенарадами, гранатами и остальным боезапасом и даже начавших под низ закладывать радиомины, обмотанные пластидом. Батальон остался бы не только без огневого ресурса, но и был бы подорван, не меньше, чем напополам.

Комбат цепко вглядывался в закошенное лицо Бомбилы, икающего, быстро трезвеющего. В конце осмотра, ничего не сказав, без какого бы то ни было отношения, Довгало вдавил в сердце сорокадвухлетнему ополченцу, таксисту с улиц Горловки, единственную, но вполне достаточную пулю из калашникова.

Тогда попытку удалось придушить. Всех троих диверов взяли. Без документов, как всегда с диверами и бывает. Приходилось верить засланцам, сразу же обмякшим, на слово, хотя — какая разница!

Втоптанной ребристой подошвой в траву, под тычущимся в затылочную щетину стволом один из них, изворотливый, захлёбывался украинским, сплёвывая кровь разорванного рта, что из Гайворона, что соблазнили, — где сейчас ещё в стране такие грёбши получишь! — что шёл войной на оккупационное полчище, а оказалось... Что давно разочаровался, что это убойня, эта бесконечная степь, эти ночные прогулки...

Рядом скрежетал зубами молдаван, неизвестно откуда, отказавшийся говорить подробно.

Третьим, старшим дивер-группы, исходя из подчинённого к нему обращения гайворонца, в резком свете шахтёрской лампы вылепился датчанин, как сам объявил. С остывшим взглядом, схожим с осенним медленным закатом. Коротко, по-мальчишески стриженный, сухой, мышечный, в форме ефрейтора украинской армии; назвался Магнуфом...

Ему связали руки и ноги отрезком электропровода. Он попеременно, то на эскимосско-русском, то по-английски, не надеясь, просил не убивать. Готов к какому угодно сроку, пусть даже на Алдане, в урановых копиях. Говорил, что тоже давно разочаровался в этой, без будущего, Украине, уехал бы, но командировка лишь через три недели заканчивается, а затем предполагалось повышение в должности, у себя... Подрагивал, но держался, не плыл в слюнях, как большинство связанных за предыдущий месяц наёмных ландскнехтов с проправительственной стороны.

Все трое приползли из тербатальона “Хорол”, из-за поля.

Диверов столкнули в двухметровую воронку от недавней ракеты, со скорбным прощанием: “Вот ваши тут и окопчик для вас открыли”. Вбросили туда сначала одну, потом другую гранату-лимонку, и, скупясь, присыпали, не более метра — лишь бы не воняли со временем в круглосуточной жары. Гранат накануне нарыли много, наткнулись на “захованку” регулярной армии при подходе к Малой Шишовке; а патроны становились дефицитом, пока не удастся отобрать цинки у отступающих или убитых из тербатальонов.

За прикопанного датчанина спецотдел Донецка чуть было не вынес исключительную меру самому Довгалю.

— Ты шо?! — с диким лицом, шёпотом (чтобы солдаты не услышали) орал на него Монастырский, новый замначальника контрразведки, задёрганный, уставший дедун в роговых очках, уже девять лет как не районный прокурор. Он специально приехал на трофейном “Хаммере” в батальон Довгало, чтобы решать что-то с эксгумацией датчанина. В их политгучёбу попал и Ольховой, которого вызвали для совета по трупным изменениям. — Мы тут с ног сбились, по-одиночки збирая натовцев, шоб предьявлять их миру, а ты, комбат, вбываешь такую бесценну улику!..

Но дни сменялись новыми днями, а Довгало, не колеблясь, продолжал расстреливать. Бывало, что и своей рукой. Стрелял и схваченных тербатовцев, и двух собственных слюнявых мародёров, которые вывозили на батальонном ЗИЛе ухваченное из разбомбленных и оставленных хат и квартир.

При отбитии очередного села из-под опеки ўряда (все называли новопробретённое украинское правительство только так), выезжал к тому, что считалось центральной площадью, на внедорожном “Сузуки”, реквизированном кем-то ещё до войны у автомайдановца в оставленном ныне Славянске.

Машина была забита сокрушительной техникой: предусилителем, низкочастотным усилителем, вуферами, сабвуферами, терминаторскими динамиками, ещё чёрт знает чем... И, включив все децибелы, Довгало вколачивал насыщенными, раздольными басами по селу и окрестностям, проигрывал один и тот же привезённый из дому компакт-диск с подбором песен, лучших, пожалуй, из очень недавнего, общего прошлого. Ласкающую “Услышь меня, хорошая” баритоном Георга Отса сменяла маршевая “Летят перелётные птицы” от Владимира Бунчикова, а за ней — печальная, как бы рефреном, “Летять, ніби чайки, і дні, і ночі, в синю даль...”. А в послесловие — обязательное “Прощание славянки”: среди грома геликонов и литавр истонченным серебром вышивали флейты.

— Большой був человек, цэй Василь Агапкин. Такэ написать! Ось сколько вже слушаю (аж не поверишь, Айболыг!), а мурашки всё одно по шкири йдуть... — сказал он в один из таких перформансов Ольховому, после взятия батальоном деревни Корчеватое. — Цэ в нас така традиция, Айболыг. Завмисть митингу. Митингуваты нэма́ колы́. То ж нэхай люди чувють, шо свои прыйшлы...

* * *

Борятьев всё ещё кусает от боли нижнюю губу, но одноглазо и въедливо всматривается в бедный интерьер медпалатки. Ворочается на нестойком и жёстком осмотровом диване, на который его сгрузили ополченцы, в надсаде внесшие в хирургию более полутора центнеров вражеской плоти.

— А что за картинка у тебя приколата на стене? Сам рисовал? Я ж помню, ты когда-то неплохо, в натуре, умел... Кто это? Если по камзолу с жабо, то — время первого покорения Америки. Случайно, не Магеллан ли?

Ольховой подходит к перефотографированному из учебника наброску, держащемуся булавкой за ветхий брезент.

— Не угадал. Этого звали Амбруáz Парé. Он у меня — что-то вроде вечного талисмана. Знаю: пока он со мной, ни фи́га плохого не случится.

Пациент заинтересованно спросил:

— А кто он?

Николай проводит ладонью по припиленному листу, как будто стирает пыль, и идёт к поступившему больному.

— Кто он?.. Француз. — С усилием двигает неподъёмное тело, с подстилкой ровно на середину лежака, обитого кожзаменителем. — Считаю его зачинателем всей полевой хирургии. Он впервые стал лечить прямо в бою. Избавил раненых от травм; до него ж раны или огнём прижигали, или кипящим маслом заливали... Первым додумался до захвата щипцами кровотокающих сосудов и лигатуры. Придумал много нового инструмента, протезов...

Но внимание Борятьева уже на другом. Его обнадёживает операционная лампа над, хочется думать, хирургическим столом.

— Неужели настоящая? — с недоверием спрашивает.

Хирург шуршит в кофре упаковками с перевязкой, иглодержателями, пинцетами. Постепенно выкладывает на операционный стол ампулы, новые зажимы, ранорасширители и одноразовые шприцы, ещё запаянные в плёнку. Выкладывает на чистую, не использовавшуюся поролонку, покрытую отрезом бинта, ровно, почти параллельно ближнему срезу стола. Кладёт на одинаковом расстоянии одно от другого... Война — не война, а привычки не меняются.

— Самая настоящая лампа. Только ненужная. Электричества-то нет. Ваши кабель перебили вдоль трассы. Так что страдать тебе — от своих же. Зайдясь кашлем, мастодонт отваливается на подголовник.

— Ничё. Как украинцу, не грешно за нэньку Украину и пострадать. Возвращение домой, в Европу, из застенков Раши простым не будет. Украинцы готовы страдать. Не тебе чета... — Потом чуть просительней: — Коль, ты б уколол мне чё-нибудь. Ну, сил уже нет выносить рези; у меня вся левая сторона — как на решётке гриля.

Ольховой всё ещё роется в кофре, производя специфично медицинские и успокаивающие звуки.

— Уколем, когда можно будет. Сначала я тебя немного пощупаю, а ты мне расскажешь про ощущения. А уж потом я буду колоть обезболивающее. — Он вспоминает: — И вот ещё что... Наперёд... Не надо мне тут про Украину и украинцев! Не тебе меня форматировать, Женья.

— Это что за выступление? — предгрозовым тоном начинает Борятьев. — Почему это не мне про Украину? А кому? Тебе, что ль?

Николай отрывается от ампул и кофра. Тихо, но в звучании ультиматума, отвергая любые будущие возражения:

— Не тебе, Женья. Какой ты, к чуме, украинец! Чего ты заладил: “Украинец, украинец”!.. У тебя же и мама, и папа — чистые русаки. Ты ж даже говорить по-украински можешь лишь через пень-колоду.

Борятьев даже задыхается протестом:

— Зато ты у нас корифей разговорного жанра! Как же! Мама у него — учительница украинского! При таких условиях не то, что ты, а и мартышка бы язык знала.

Ничего другого Николаю не остаётся — лишь повести слегка плечом:

— Причём мама? У меня и папулька только по-украински дома говорил. Всё ж Богдан Ольховой. Он же из Славуты. Там других языков не знают...

Примолкает, наливая в пробирку немного спирта, готовит ватный тампон. Трогает лоб Борятьева свободной рукой, рассупонивает ему полностью куртку и раскидывает в стороны её половинки.

— А, кстати, как твои? Анатолий Владимирович и Марина Юрьевна. Надеюсь, здоровы... Я их помню так, точно вчера видел. А самарский расстегай в исполнении Марины Юрьевны я просто до сих пор во рту чувствую. Вкуснотень несравненная!

Евгений отворачивается; не хочет, чтобы приятель видел его мгновенно потёкшие глаза. Выдавливая каждое слово, поначалу замедленно, словно после апоплексии, начинает рассказывать: и про застывший в нём навечно кошмар дорожной катастрофы в ливень, осиротившей его сразу на жену и родителей, и про Светланку, оставшуюся с тёщей в Червоний Слободе, и про сына, неведомо куда запропастившегося, и про свою безработицу

в последние несколько лет... Он уже быстрее выбрасывает слова, снова удивляясь: почему он это говорит Кольке Ольховому, о существовании которого он, казалось бы, забыл? Рассказывает всё помимо желаний, будто духовнику, будто во всём свете больше никому этого рассказать раньше не мог. Неужто исповедоваться пришёл час? “Да ну, херовина, глупня! Ещё повоюем! Рано панихиду по себе заказал”. Но слова, пусть и с сопротивлением, всё продолжают из него вылезать. И старается примолкнуть, прикусить следующее, но вот новое, и ещё одно, и ещё одно слово, и опять — о теще, о Светланке, и даже о срочной своей службе, ещё при Советах, уже такой далёкой, хотя и незабвенной, в Поморье, на мысе со смешным названием Канин Нос... И опять о...

— Поверить невозможно! Господи, вот беда-то! Вот уж чего никому не пожелаешь! — Николай стоит рядом, отставляя далеко на подставку и спирт в пробирке и роняя тампон, и, забыв про ампулы и боясь пошевелиться. Позже, после мертвенного, свинцового молчания: — Да, Жень, братка... Выпало ж тебе! — Кладёт продолговатую ладонь на грудь раненого. — У меня всё не так трагично, но тоже приятного мало.

Он медлит с ответной исповедью. Отбирает, что из неё стóит произнесения, а что лишнее.

— Папулька ушёл от нас, когда я девятый класс заканчивал. Вот такой был мне подарок к летним каникулам. Нашёл какую-то бабищу, вроде бы у себя в Хмельницком или где-то там ещё. А где теперь — не представляю. С тех пор не общались. И жив ли... А мама жива. Добавить, что здорова, будет преувеличением. У неё прогрессирующий полиартрит, совсем больно ходить...

* * *

Хирургу уже понятнее с пациентом.

Разрезав на нём оставшиеся военные тряпицы, он осторожными пальцами протрогал всю левую сторону Борятьева, чутко реагируя на всякий стон, выясняя о точном местоположении каждой боли и том, как она отдаётся.

— Сейчас я тебе вгоню слегка в ногу укольчики, то есть туда, где тебе, Жетон (таково было его юношеское прозвище, а Ольховское — Кокос), особенно невыносимо, как ты говоришь. Но полностью тупить болевые симптомы пока не буду, иначе ты мне ничего не сможешь рассказать про самочувствие. А твои рассказы в отсутствие рентгена — единственное, на что я могу опираться... В руку и бок пока колоть не буду. Потерпи. Я там ещё не всё прощупал.

Жетон отвечал вяло:

— Ну, давай... Хотя бы в ногу. А то я сейчас, похоже, сознание потеряю. Уже больше суток терплю.

Пахнуло спиртом. Николай, протерев пару мест, быстро, по косой вводит иглу в каждое из них. Оперуемый и не заметил.

Со временем левая нога леденеет и успокаивается. Резь всё ещё покусывает бок и руку. Но надо выносить, сжаться.

— Я в последнее время, Кокос, жил между домом Стефании Петровны, ну, матери Тоси, — как будто продолжаете прежнее Борятьев, — и кладбищем, где Тосю с моими родителями схоронили. Первое время каждый день к их могилам ездил, проводил там почти весь день, дотемна. Говорил с ними. И не мог наговориться... Через год немного стало отпускать...

Николай пристраивается у ног Борятьева, на угол лежака, всё ещё рассматривая кожные покровы и изрезы от пули и осколков. Заговаривает расстроено:

— Я вот тебе недавно сказал, что вряд ли скоро смогу приехать в Черкасы. У меня ж там тоже есть свои могилы. Дед и бабка по маминой линии лежат. Хотел бы навестить, но получится ли теперь!.. При новых-то порядках на Украине... Возраст у меня пока ещё самый боевой, украинец

с российским гражданством, в прошлом — офицер. Миллион причин меня не пустить: потенциальный же враг теперешнего режима. Может, даже агент, подрывник! Развернут на любом погранпосте.

Раненый сжимает-разжимает кулаки.

— А чего было уезжать в эту коростную Россию! Чего не вернулся в Украину после независимости? Почему в Раше остался? — пытается он приятеля, мерцая глазом с отражениями лампы.

— Так разве кто-то мог всерьёз предполагать, что это будут реально две разные страны? — Ольховой, подумав, сосредоточенно отрывает от длинной ленты с шприцами ещё одну упаковку. — Все были уверены, что всё будет по-старому, как повелось. А так называемая независимость друг от друга — форма, дань времени. Кто тогда делил? Ни границ, ни различий. И там, и там — один и тот же разор... Тем более, что в России не заставляли армейских заново присягу принимать. Признавали данную Союзу. Так что передо мной просто не стоял выбор: или-или...

— Да? Поэтому и мать свою перетащил в Россию? — Борятьев немного ожил.

— Я её не перетаскивал. Она сама решила. Всё тогда же, ещё при Союзе. Папанька ушёл, я заканчивал школу, собирался в академию, то есть поблобу уже уезжал из дома навсегда. Что в Черкассах одной делать? Родня или поумирала, или съехала из города. У неё и остался-то, кроме меня, только один свой человек на всём белом свете — сестра. Моя тётя Катерина, в Анапе, любимая и мягкая. Вот мама и затеяла перебираться куда-то к ней и её многочисленному семейству... Два года выменивала квартиру в самом центре — ты ж помнишь, бывал у нас сколько, Садовый переулок, дореволюционный дом, четырёхметровые потолки! — через несколько вариантов, маклеров, через грузинский Кутаиси... В результате выменяла на доймовочий кооператив в Анапе. Пристроилась работать в анапский музей; она ж не только учительница, её первый диплом был по искусствоведению.

Евгений хочет ответить, но слабость валит его навзничь. Даже бежевые смазанные овалы в глазах залетали, каждый в сияющем ободке.

* * *

Нытьё, утихомирившееся было в левой ноге, напоминает о себе издевательскими подленькими укусами, колет, надавливает.

— Кокос, так ты будешь ковыряться во мне? Я ж железо в себе чувствую каждой клеткой... Ну, делай хоть что-то.

Хирург подтирает салфеткой мокрый лоб раненой горы.

— Сделаю хоть что-то. Обязательно сделаю. Достану из тебя сейчас то, что мне видно... В виде бонуса ещё поколю тебя на предмет дезинфекции и избежания абсцесса. Но чтобы найти самые мелкие вошки (в руке, в боку, под коленом) и чтобы оценить масштаб бедствия в костях нужен рентген. Позже, сегодня же, Жетон, повезу тебя в город, в больницу... Если нас тут всех не положит ваша артиллерия.

Жетон умоляюще:

— Только, Кокос, сделай всё сам. Я одному тебе здесь верю. Не давай меня резать никому.

Друг Кокос успокоительно показывает распрямлённую кверху ладонь, клянётся:

— Не бойсь, не отдам. К тому же, не уверен, что в больнице есть хотя бы один свободный хирург. Вы, спасители Украины, тут столько людей покалечили, что больница просто захлёбывается. И ладно бы лишь солдат курочили! А в чём перед вашей Великой Европейской Мечтой виноваты дети? Скольких уже убили или без ног, без рук оставили? Зачем вы донецкое старичье гробите?.. А ты знаешь, сколько из-за ваших обстрелов уже выкидышей у баб, которые были в положении? Сколько рождается недоношенными, с патологиями!

Он говорит, рассчитывая время на грядущую операцию, задумчиво, готовя под укол нужные ампулы, но Борятьев вздрагивает. Шлёт в бой оставшиеся силы:

— А чего ты хотел, Кокосик? Чтоб мы сочувственно смотрели на то, как дербанят нашу страну, как отрывают одну область за другой?.. — Он выкатывает открытый глаз, бледный, будто облачное небо; по жирной шее даже просматривается трепыхание наружной яремной вены. — Ты пойми, украинец: сейчас наша с тобой страна впервые пытается по-настоящему строить своё, совсем самостоятельное государство, которого... толком и не было никогда... Мало кто у нас уверен, что получится, но... Шанс! Другого уже не будет. Мы не имеем права прощавать этот шанс. Поэтому мы и бьём, и будем бить по любому, кто против. А получится или не получится... Бог ведает.

Ольховой ковыряет, не без провоцирования:

— Откуда такие сомнения и неуверенность, патриот? Что значит “может не получиться”?

Секунды паузы. Вздых раненого, кажется, собрал в себя всю полуторатысячелетнюю исследованную историю обитания людей на Подольской и Приднепровской возвышенностях.

— Да слишком много против. И внутри нас, и вне... Я вот никак не могу допереть: разговариваю со своими друзьями, многих знаю с молодых усов, а не понимаю их... Да, на словах, все — за единую и неделимую. Да, все считают, что тут, на Донбассе, мы воюем не только с бандюгами-сепаратами, которые хотят отделиться и заварить своё независимое, мафиозное, воровское вполгосударство, чтобы сесть на уголь, руду, химичить с денежными потоками, контрабандить помаленьку... И вот, все всё, казалось бы, понимают, даже гривни свои жалкие отдают на борьбу с сепарами. Но самим сюда приехать, да самим повоевать — так хрен... Не едут! От призыва косят. У меня ни один знакомый в антитеррор не подписался. Только я. Как юнак небитый, на одном лишь убеждении, — он вспыхивает в полный накал. — Вот что не даёт уверенности! Народ слишком клёклый, — посылает в воздух какой-то не совсем обнадеживающий жест. — И ещё: нет врага сильнее и хитрее, чем Раша. Она сделает всё, чтоб у нас не получилось. Подкупит наших верхних, задурит голову большинству своим Русским Миром... Ты же не будешь спорить, в натуре, что здесь режутся не только якобы добровольные, но и вполне штатные части кацапов...

Ольхового больше тревожат желтеющие пятна на ноге пациента, поэтому — лишь сдерживаемый вздох:

— Не знаю, не встречал тут штатных. А ты? Я имею в виду не постановки с призывниками Украины, переодетыми в русскую форму, чтобы латвийские и пиндосовые телеканалы фиксировали “кремлёвское вторжение” в нэбку... Ты видел тут настоящие боевые части России? Воевал с ними?

Снова молчание. Борятьев собирается, подметает в ладонь рассыпавшиеся мысли, слова.

— Пока нет, но уверен, что они тут есть. Не может же донбасская быдлота воевать в одиночку против нашей армии! У нас же, минимум, двадцатикратный перевес, и по людям, и по технике. Так что только идиот или ребёнок не чувствует против себя твёрдую внешнюю руку. — И трибунно, перебирая нервными пальцами край ложа своего неудобного: — А что этот быдлостан может дать Украине? Пьянь, мат? Феню? Ведь почти вся Раша по-блатному бётает. Даже девки молодые. Откуда это: “беспредел”, “гнилой базар”? Охранники там — сплошняком “вертухай”... Не страна, а одна большая зона!

Друг детских приключений смотрит на него с сожалением, изогнув одну из бровей:

— А на Украине — не то же ли самое? Нечего из неё Парадиз лепить! Та же феня. Мне-то можешь не втирать! Я ж не из африканских саванн и не с Венеры... — Ответный вздох. — Что делать! Такая была судьба общей страны.

Решает начинать, созрев для оперативного этапа. Шприц выталкивает последний воздух через иглу вверх, и проспиртованная мякоть ухватывается опытными пальцами:

— Я сейчас, Жетон, ввожу тебе уже блокаду посильнее. И буду резать, пан Пузан... Не взыщи, что без перчаток; они у меня закончились... — Он пытается размягчить Борятьева, принизить факт вторжения в его чресла, отвлечь, поэтому заставляет его мыслью снова улететь туда, за линию огневого соприкосновения, за фронт. — Вот что я всё никак не могу понять, так это болезненное сходство в ваших сегодняшних привязанностях и неприятях. Ты ж не первый с той стороны, кого тут наши повязали. Обрати внимание, сегодня вы, большинство на Украине, говорите не о своей стране, а почему-то только о России. Навязчивая идея! У меня как человека с некоторым медобразованием даже предположение вызрело: а не распыляют ли вам всем через вентиляционные решётки в домах какой-то забористый кокаин...

Борятьев готов к шприцу, но не может оставить последним не своё слово. Говорит, не пересекая чувства, скорее — из обязательности:

— Это вам, в Рашке осознание в бетон закатывает телевизор.

Хирург же, растянуто, ступенчато, всё глубже, слой за слоем вводит инфльтрационную дозу новокаина. Игла входит в подкожный жир и мясо легко, как и не игла вовсе, а всего лишь одинокий тонкий луч света, издалека.

— Понятия не имею, Жетон, про телевизор. Не смотрю. С тех пор, как телевидением стала реклама. У нас дома даже аппарата как такового никогда не было, сын даже мульты и “В мире животных” по компьютеру смотрел... Так что всё, что нужно, ловим только в интернете. А он без цензуры, — и, оставив в тканях нужные миллиграммы, вытягивает, под свежий спиртовой тампон свой световой луч из пострадавшей ноги. — Ведь видно, Жетон, что причащаете себя не любить, а ненавидеть. Для вас ненависть к территории — отсюда и до Командорских тюлених лежбиц — важнее любви к Украине. Можно даже и не любить эту Украину. Ну, воровать, скажем, гривны у страны, а потом слинять из неё в Швейцарию. Главное: ненавидеть Россию! Тогда ты — свідомый українець... То есть патриотизм — только через ненависть. Это, по-твоему, не кататоническая шизофрения?

Словно по операционному хронометру, точно к началу процедуры, возвращается Оксана с двумя рудокопными лампами и набором разнообразных свечей — и простых церковных, и фигурных, для салонов.

* * *

Ольховой, видя замученную мимику медсестры после операции, отпускает её поспать, хотя бы пару часов.

— Я сам закончу. И продезинфицирую, и наложу повязки. Тут площадь обработки и перевязывания, как видишь, не мала, так что я, не торопясь...

Она, облегчённо вздохнув, идёт в свой угол, занавешенный куском брезента. Завозилась там, наскоро ополоснула в тазу руки и потное лицо, шею. Сбрасывает халат и рушится на взвизгнувшую раскладушку поверх скомканного пледа. Засыпает сразу же, разметавшись.

У прооперированного расщепляется сознание, ускользает и вновь возвращается. Голова кружится так, точно он, то ли напившись допьяна, то ли в непомерном жаре нутра летит вверх-вниз на горках в парке развлечений.

Хирург обтирает лоб и виски сначала ему, потом себе. Устали все.

— Везёт тебе, Жетон, что ваши сегодня нас не тыркали ночью. Как будто специально дали возможность мне тебя пользоваться. — Он не совсем доволен проделанным, полностью исключить заражение крови пока не удалось. — Ну вот, вынул я из тебя всё, что различил. Остальное — только после того, как увижу снимки.

Из Борятьева выползает напряжённость, которая его держала всё предшествовавшее время. Выползает, как если бы её, разветвлённую, потянули сильно из него за самый толстый край, корень и выбросили где-то за кольшками натяжения госпитальной палатки.

Расплывается пленник безвольно по медицинскому лежаку.

— Спасибо, дружбан. Как-то спокойней стало... Никогда в жизни так тело не резало, не давило...

...Оба говорят, и разговору конца не будет. О чём? О Черкассах, о днепровских разливах, о последних годах, о детях своих.

Уже давно рассвело. По палатке, от основания до верха, взбирается утренняя краснота солнца, заполняя этот маленький госпитальный объём адской нереальностью. Только чертей с рогами недостаёт и кострища для грешников.

Всё пропитывается нездоровой и пугающей краской. Лишь одной.

А тут ещё нарастает гвалт за плоскостями палатки. Он накатывается, как приближающийся шум воды, как океанский прилив.

— Пойду, посмотрю, чего там разорались. — Николай дежурно берёт из-под операционного стола автомат. — А ты, Жень, давай, спи. Тебе теперь торопиться уже некуда. Не высыпался, видать, всё это время?.. Здесь ты — в моём ведении. Так что никто тебя не тронет.

Втискивает Борятьеву под голову куртку, опускает край палаточного брезента, чтобы не задувало рассветным слабым ветром.

— Спи, толстун.

У донецкого аэропорта. 18 сентября 2014

Опираясь на не подогнанные под рост костыли, самые простые, деревянные, привезённые с полупустого донецкого склада медтехники, Борятьев пробует впервые пройти по двору. Загипсованую левую ногу потешно-немело выставляет вперед, прилаживаясь к странному шагу.

— Ну вот, ещё немного, и будешь годен к строевой, Жетон.

Врач, вроде, доволен результатом. Всё могло быть хуже. А так — пациент возвращается к ограниченно-самостоятельной жизни. Заплывший второй глаз давно раскрылся, след от удара прикладом в щеку при захвате уже не заметен.

После поездки в горбольницу в конце августа, рентгена и там же, на месте, операции при ассистировании ещё одного хирурга, больничного, удалось вытащить все оставшиеся чуждые предметы из левой стороны пленника, вплоть до металлических зёрен, что подтвердил повторный рентген. Первый же — поймал ещё и трещину в большой берцовой кости. Но смещение в районе скола было малозаметно, что облегчало оперативные труды.

Кость сцепили, мясо зашили, зашинуровали, залили отвердителем на самый жёсткий бандаж до пальцев ноги, перед этим обтыкав разрезанные места всем дезинфицирующим, что только нашлось в больнице.

По возвращении Борятьева в хирургической палатке допросили уже все, кто только хотел. Дважды приезжали и из Донецка, и из спецотдела фронта, что под началом Никитина. Всё намеревались забирать с собой, но Ольховой каждый раз неопровержимо объяснял, почему раненому пока нужно оставаться у него.

— Он вам целый нужен или сгодится по частям? — спрашивал со строгим лицом. — А если целый, то не мешайте мне его поднимать. Когда гипс соскребём, тогда и можно будет думать: как и куда везти. Ему же сейчас сломать себе простреленную ногу не стоит ни копейки; любой неправильный шаг — и амба...

Борятьев слышал эти приглушённые диалоги и каждый раз быстро сжимал ему руку, как только их другие не видели.

— Спасибо, дружбан, — прошептал он Ольховому после первой отговорки. — Честно признаюсь, не уверен, как бы я сам поступил, если бы мы с тобой поменялись местами, и в других обстоятельствах. Мы ж вроде теперь враги.

— Да какой ты враг! — позёвывал тот. — Дятел ты. Дятел с отбитым мозгом.

— Ну, это тема для долгого спора, кто из нас отбитый. Я просто пове- рить отказываюсь, что мне тебя, чистопородного хохла, в натуре нужно убеж- дать в нашей, украинской правоте! Это ж кому рассказать!.. — Потом, задум- чиво: — Хорошо, что эта война хоть не между нациями, а всего лишь между государствами. Государства раньше или позже как-то примирятся, Кокос. Вы- нуждены будут. Мы ж в материализме живём. Нужно есть, пить, торговать, зарабатывать деньги... А вот национальности вряд ли примирились бы. Как греки или армяне с турчинами, скажем, или корейцы — с японцами.

На следующий день пробовал развить мысль, поскольку сам хотел по- нять, что же — дышло всем нам в рот! — происходит, наконец:

— Эта война за госграницы, за представление о жизни. И по ваш бок, и по наш есть хохлы, кацапы, израильцы, кавказцы, латыши, чехи, италь- яшки. То есть украинец против украинца, то же про русских. — Он выгла- живал пригоршней неравномерно зарастающий затылок. — Был в моей сотне один корректировщик огня, Нугзár Асатиани, красавца югоосетинских боёв, кацапский танк тогда зажёт. А до приезда сюда подрабатывал пляжным спа- сателем при отеле в Батуме... Так вот он как-то уж очень горько на обеде сказал мне, что за вас, бандюков, тут, рядом, воюет его любимый дядька (имя не помню), растил маленького Нугзарика, младший брат матери. Мой корректировщик его боготворит, очень хотел бы с ним встретиться. Только не в атаке...

После подписания 5-го сентября ни к чему никого не обязывающего до- говора, о сворачивании огня между Украиной и Новороссией, обстрелов ста- ло чуть меньше. Их не то чтобы действительно сворачивали — тербатальоны плевать и размазать хотели по поводу любых договоров, — но ежедневные артобработки сократились во времени, били не больше получаса. Диверси- онные экскурсии с чужой стороны потеряли свою летнюю самоуверенность. И, по общему наблюдению, военная работа шла на убыль.

Результат такой полувойны выражался арифметически: Ольховому ино- гда за целый день не присылали ни одного на капитальный ремонт. И на те- кущий тоже. Батальон Довгало перестал терять людей; со дня договора — как отрезало. Это и обнадеживало, и наводило хирурга на мысль: а не пора ли постепенно собираться домой...

С переговорщиками из правительственных когорт не получилось усло- виться об обмене Борятьева на кого-то из схваченных ополченцев: перего- ворщики не могли предложить никого, равного Евгению по армейской табле- ли о рангах. На предложение возвратить Юрия Конопенко, в начале войны отлавливавшего лазутчиков по берегам Северского Донца и подобранного ра- ненным, в бессознательном состоянии одним из наступавших тогда тербата- льонов, отвечали без изворотов: не выйдет, некого возвращать, он был изъ- ят ещё тогда же допрашивателями из СБУ. Даже за весомые доллары не выйдет, то есть переговорщики продали бы, и с дорогой душой, как это с ию- ля пошло, да руки у них коротковаты против Службы Безпеки...

К середине сентября похолодало. Отглаженный комфронта Никитин по- ставил батальону задачу: вместе с полком из Амвросиевки поддерживать с юга атаку на обрушенный донецкий аэропорт, в котором зарылись в желе- зобетонную пададь, в собственные экскременты, в землю и в мёртвую оборо- ну нацгвардейцы и тербатовцы, заколоченные почти со всех сторон силами Отпора, но вооружённые вдосталь. Неизвестно на каких смесях державшиеся, они отстреливались из всего подряд по логике приговорённых, не уступая полностью лётного поля и некоторых терминалов, уже на три четверти не су- ществующих.

Переброска харцызцев на новый, могильный рубеж шла постепен- но и долго.

Ольховой с Оксаной перетащили всё небольшое госпитальное имущест- во в оставленный жильцами, некогда вполне благоустроенный домик из чер- вонного кирпича в близкой к аэропорту деревне.

Раненых никто не вёз. Заниматься было нечем. Оксана топила печь и, по большей части, расходовала время готовкой — на себя, хирурга, пленно- го и на любого, кто зайдёт. Особенно хорошо у неё выходили деруны с кон-

сервированным паприкашем и говядиной, которую — свежее филе! — благосклонно ей отпуская заинтересованный любезник, батальонный интендант Рахат-Лукум, не по-интендантски кострявый и щедрый, из здешних мест.

Ещё она пришивала пуговицы всем, кто просил, варила с персолью и хозяйственным мылом в двух эмалированных баках бельё — своё нательное, постельное, ну, и двоим мужчинам, что требуется. Николай же ходил по бойцам, следя за выздоровлением подбитых ещё летом, и откликался на жалобы деревенских; к нему зывали с обычными невоенными недомоганиями — у кого грипп, у кого ломает суставы на сырость, у кого начинающийся педикулёз.

С Ильсией говорил по телефону редко. С сыном-сачком — только однажды за всю свою эпопею. В Уфе было по-прежнему, и он начинал взаправду тосковать по дому.

* * *

Борятьев, выдохшись после тренировки с костылями по двору, накапливает силу, сидит на низкой табуретине, вжимается спиной в тёплую стену позади печи. Разрабатывает левую руку, как повелел врач-враг, сводя и разводя пальцы бесщётно, прописывая локтем нули в воздухе.

— Кокос, тут есть поблизости церковь? — смотря в пол, спрашивает. — Хотелось бы сходить. Как начал воевать, лишь раз добрался. В Володарском. Перед боем... Хотел бы сейчас за Тосю помолиться, за маму с папой. За всех нас. За тебя, паразита, поблагодарить Бога, что свёл...

Николай, под временную тишину, как всегда, набирает в мобильнике текст, неискренний своей бодростью, чтобы позже послать Ильсие.

— Есть церковь, хотя и недалеко. В селе рядом, километров шесть. Я в воскресенье был. Там умный иерей. Святослав. Открытый, вникающий. Тоже из военных. Служил в юстиции. Сам просил перевести его в приход сюда, на войну, когда предыдущего, отца Лавра, в июле убило кассетной бомбой... Только одно “но”, — из-под козырька кепи подглядывает за выздоравливающим, взвешивая довод: — Не знаю, подойдёт ли эта церковь тебе.

Исполин отвечает недоумённо:

— И как тебя понимать? Что, церковь не православная? Синтоистский храм, в натуре?..

— Церковь — самая православная. Только не филаретовская. — Ольховой закрепляет в памяти телефона уже набранную часть вымыслов для семьи. — Московской ветви церковь. Вот так...

Борятьев опускает голову, изучая пристально свои гипсовые латы, выговаривает еле, не двигая, похоже, губами:

— Ну, тогда, значит, подойдёт. Я православных церквей другой ветви в Украине не знаю.

Хирург откладывает телефон.

— Н-да, не ожидал от тебя такое услышать. Ты ж зад себе рвёшь за нэ-залэжну и самостийну Украину. А так называемую независимую украинскую православную церковь не признаёшь? Как же быть с денисенками и автокефалами? А?

Ещё больше пригибается к своей ноге пленник, не в силах смотреть на оппонента.

— Нет таких православных церквей. — Видно, что признания — через излом, через болевое насилие. — Кукольный театр! Самodelки! Кружки “Умелые руки” при домкоме... — Он говорит всё тише, всё дальше от хирурга отводя глаза. — А когда речь идёт о Боге, о спасении души, то о политике не думаешь. Для меня есть только одна православная церковь в Украине. Ну, и что теперь делать, раз она формально Московская? Ну, бывает. Такава была история! Ничего не попишешь. Турки тоже с аравийцами воевали, при этом поклоняясь святыням тех... Своих не придумывали... Вера — выше войны.

Первое удивление Ольхового минуло, сдав позиции негромкому насмешничеству: такой повод потроллил толстуну Жетона!

— Но как же! Денисенко же себя называет патриархом Филаретом! Патриарший клобук на голове носит! В Верховной Раде выступает!

Сидящий Жетон медленно заводится, впервые за разговор зыркнув на Николая:

— Тебе сколько повторять, пристава́ле!.. Да пусть он себя называет, как хочет, и что хочет на голове носит! Хоть свои панталоны... Нет такой церкви для меня! И ни для одной из православных церквей его нет, ни для греков, ни для остальных балканцев, ни для грузин, ни для Константинополя... По поводу же Рады... Так что б ты знал: те, кто ему аплодирует, тайком всё-таки крестят своих детей и молятся во здравие близких там, где и положено. Не у денисенок. — И итожит: — С верой не играют, Кокос!.. Договорились? Что по-пустому базла́ть!.. Свози лучше меня к своему умному иерею.

Николай вталкивает телефон себе в карман у колена.

— Свозю. — Он всё ещё сдержанно-смешлив. — Так что ж это выходит, Жетон? Мы с тобой, получается, в одной церкви? А вот, вишь, сейчас мы крест-накрест, один наперекор другому.

Затянутое молчание приятеля можно истолковывать, как угодно. Тот, снова скрывая глаза, выстраивает продолжительную фразу:

— Да, в одной церкви. Да, крест-накрест, Кокос. Ну и что? Я ж тебе уже сказал: и такое бывало. Вон, князь Суворов-Рымникский не только иноверцев по всей Европе гасил, но и своих же, которые с ним в одной церкви — тысячами! Вешал на воротах, забивал насмерть хлыстами-канчуками, когда водил войска на Каму и под Оренбург давить бунты. Что нового-то?.. Да, мы в одной церкви с тобой. Но Украина нас развела. Ты её хочешь опять загнать в рабство Москве, а я — вырвать.

Приходит черёд Ольховому напрягаться каждым мускулом. Он говорит нервно, срываясь голосом в пропасти злобы и с силой оттуда выкарабкиваясь:

— И что ты гонишь, Жёня? Ты на радио “Свобода” глашатаем подписался?.. Какое рабство, когда Москвой столько па́рубков с Украины помыкало! Раз уж князьёв-графьёв вспомнил, то тебе Разумовского мало? Он же не только Петербургу и Москве указывал, но и самой царицке Лизавете... А уже при “совке” сколько! Дорогого и любимого Леонида Ильича забыл? А Семичастного? А Цвигунá? А Подгорного? Ведь всё наше детство — под ними.

Встаёт, часто вдыхая, чтобы успокоить себя до привычной врачебной бесстрастности.

— Говоришь, что Украина нас с тобой развела? Пожалуй, — смотрит на Борятьева остро, как будто снова разрезает его лезвием, только теперь уже всего, начиная с темечка и до простаты. — Мы родину по-разному понимаем, Жетон. Ты — только вопреки одной большой Руси, только от какого-нибудь закарпатского Ужгорода и лишь до Азова... А моя страна — не только от Ужгорода или Измаила. Она и от балтийской Куршской косы, и от Гродно на Немане, и аж до Берингова пролива. Что-то меньшее меня не устроит. — Останавливается у поддувающего окна. — Вот из-за этого я сейчас тут, Жёня, а не с сыном и не со своей любимой.

Борятьев исподлобья вбивает прищуривание киллера в область носа Николая. Глаза сузились до монгольских.

— Твоё счастье, Кокос, что я пока калека и не могу тебе в зубы дать. — Вытирает вспотевшие ладони о пряжу шарфа, доставшегося от предыдущих хозяев дома. — Ты чё, пропагандозом заболел? Какой Руси тебе хочется? Чё тебя устроит? Чтоб снова всех нас за ниточки, как кукол, дергала Москва? Повсеместно — от моего Закарпаття до твоего Тихого океана?

Ольховой, на правах лечащего врача, спокойно, совсем не боевито, подходит вплотную к больному, ногой придвигает себе стул.

— Нет, милый, снова не угадал. Не Москва. Забудь. Никто уже давно не думает повторять тупое командование из неё, как при “совке”. Доказано на практике за десятилетия, что такое — не пляшет. — Он кладёт ногу на ногу, наклоняясь ближе к Борятьеву — может так, ближе, слова как-то

точнее дойдут. — Москва навсегда останется столицей России, и лишь Россия как одной из частей Великой Руси. А общий управляющий город всей Руси придётся строить. Пусть и не с нуля, но строить. Я даже знаю, где.

Замечает — зацепило. Во всём лице громадины словно разлитое подтёгивающее выражение: “ну, ну, не тяни жилы, давай уже...”

— Другого места просто быть не может. Такое — только одно. — Николай ищет подмогу у своих рук — принимается жестикулировать. — Общая столица должна быть в точке, в которой сходятся границы трёх частей, трёх держав одной Руси. А значит, на границе белорусской Гомельщины с украинской черниговской землёй и российской брянской. Можно под столицу образовать отдельное земство, тоже общее... Я бывал там. Места великие! Леса, реки... Там ещё памятник стоит “Три Сестры”. Три страны.

Громила заранее несогласно вертит головой, пренебрежительно помахивая кистью.

— А-а-а-а, тюля всё это, глупня! Подумаешь! Ну, не из Москвы, так из этой, заново построенной... Но всё ж равно кацапы будут править! Они ж никому другому не дадут!

Но Ольхового перебить раненому не удаётся.

— А если управлять общей Русью попеременно? Один год — белорусы, другой — мы, украинцы... Ну, и так далее, по кругу.

Боряться даже начинает давиться яростью:

— Да ты чё, Кокос! Как мы можем с москалякой? Когда мы столько с ним воюем!.. Ты забыл, дурила? Вся же история украинцев — война с Москвией.

Николай смотрит сострадательно, выдерживает небольшой перерыв. И говорит подозрительно ласково:

— Женья, не дам тебе больше есть грибы. Как врач... — Говорит, будто рецепт выписывает. Но чуть потом, в гудящей подземной дрожи рассерженного вулкана: — Какая война? Последние лет пятьсот — только вместе! И в помоях, и в победах!.. Драку у Конотопа вспомнил? Так то несколько сечевых атаманов, запорозжанцев, купленных за шляхетские злотые, воевали с московитами. И не столько с московитами, если разобраться, сколько с другими малороссийскими атаманами, оставшимися верными присяге... И всё, Женья! — Он подрагивает сейсмическими толчками, неосмотрительно хватая Борятёва за колено. — Вспомнишь, наверное, Круты? Так там ни с какой не Москвией бой был, а с большевиками. То, по сути, было смертоубийство опять же между украинцами, что не впервой. Кто тогда на стороне красных бился? В том числе украинцы же: матросня, кавалерия. От ездового тачанки до помкомандарма... А вся остальная история — только заедино! Против ляхов. Ну, и ещё против турок, румын, разнообразных германцев... Против кого была Запорожская Сечь? Против Москвии? Хватит этой тифозной горячки! Да среди днепровских казаков около трети были беглые из России... А Северин Наливайко? Больше же двадцати войн и восстаний на земле Украины, ещё с одиннадцатого века!.. А опришки? А дейнеки? Мы ж это всё детьми читали, в нашем дворе мы со своими игрались! И вы в своём, наверняка. В Пынтю Храброго, в Олексу Дóвбуша...

Немного совладав с глубинными подвижками земной коры, пригасив выплески вулканических фонтанов, он встаёт, снова собираясь ходить по комнате.

— Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е, Жетон. Так не пойдёт. Сожги весь тот силос, который сейчас печатается на Украине по прошлому страны. Иначе — совсем голову загубишь. Ведь ясно, что ныне историю на Украине излагают во все не историки, и не археологи. А фантасты! Причём — бездарные.

У донецкого аэропорта. 2 октября 2014

Просьмается Ольховой от взрывов совсем рядом, нескольких, одновременных. Сразу определил: начался обстрел “градами” правительственной принадлежности, арт-самоходами и самыми тяжёлыми миномётами.

С сентября (когда опорные выступления ополчения размолотили на ингредиенты всю 95-ую моторизованную бригаду Украины) националистические тербаты как с цепи сорвались. День за днём сносят оставшиеся сёла на подходе к Донецку, даже те, в которых уже ничего и ничего нет.

Николай наобум одевается, напяливая на себя всё, что свисало с гвоздей у двери: не исключено, что придётся надолго убираться отсюда, так что весь день на ветру, а ещё заморозки под утро...

Рвётся в соседнюю комнатку, торцевую, где спит Борятьев.

— Жетон, встаём! Давай, я тебе помогу одеться. Нужно сматывать в вырытое укрытие. Это через улицу и два дома. Мало ли что... Вашим, похоже, закордонные учителя пожаловали своих снарядов, так что старые нужно списать...

Великан спросонья дёргается, производит много лишних движений, не сразу попадая рукой в рукав, а ногой в штанину.

— Оксан! — Врач трубит в дверной проём. — Ты где? Убегай. Знаешь, куда бежать-то?

— Та знаю вжэ, Мыкола Богдановичу! Ось тильки анестезино посбыраю, я ййии тут не залышу, вона нам дуже дорого досталася... Та й антибиотики тэж забэру.

— Не дури, чўча! Какие ещё антибиотики! Беги с хаты, я сказал! Не смей рисковать.

Кое-как успевает одеть Борятьева, натянуть на него чужой, оставшийся от прежних владельцев китайский драный пуховик и, придерживая плечом подмышку человека-утёса, толкает его к выходу.

Тот, подтянув с испуга всю физику организма, довольно смело торопится на улицу, опирается уже окрепшей левой рукой на ортопедическую палку, слегка наступая на всё ещё гипсовую ногу.

— Оксана, быстрее, не возись! Брось всё! — Врач уже снаружи кричит в дом.

Подпирая громко дышащего и мгновенно упревшего Жетона, торопится в узкое убежище Довгало, зацементированное и приваленное бордюрными плитами, в подвале упавшей избы, с отдалённо вырытым лазом. Там сейчас временный штабик.

Остаётся всего полста шагов. Самыми опасными кажутся шаги на неприкрытой деревенской улице, где они с Борятьевым становятся беззащитными, образцовыми мишенями для закрепившихся на деревьях высоты корректировщиков и снайперов, вросших в инфракрасные видеоискатели.

Но вот и улица пересечена. И до развалин нужной избы уже совсем чуть.

Тогда-то и слышит Ольховой недолгое завывание летящего конуса из 152-миллиметровой самоходной "акации", а за затылком — новый взрыв. Слишком рядом.

Они с Борятьевым приученно пригибаются, прочувствовав спинами, задниками курток расстрельную дробь из кирпича, бетона, древесины.

Николай оборачивается и поначалу ничего не видит, прежде всего — того дома, в котором они провели последние восемнадцать ночей. Его больше нет совсем. Нет ничего, и с улицы, сквозь поднятую тучу из травы, земли, мелких кусков неизвестно чего просматривается весь сад, аж до забора с участком соседей. Даже не сад, а расколотые остовы деревьев — кроны рухнули. А дом как будто в секунду провалился. Лишь по неровным зубьям обнажившегося фундамента начинает разгораться неторопливый пожар.

— Окса-а-а-ан! — разрывая вопящую гортань, вздувает канаты на шее Ольховой. — Оксана! Ты где?

Ответа нет. Никаких звуков нет. Наступила совершенно новая, нетипичная, непривычная тишина. Даже вороны заткнулись. Даже ветер мгновенно стих, так же, как и Ольховой, замертвел.

Николай отупелым взглядом смотрит на загорающийся фундамент только миг назад стоявшего дома.

— Оксана-а-а-а!

Борятьев, тоже с выкатившимися глазами, еле выталкивает из себя:

— Не ори, Коль. Неужели не понимаешь, что бесполезно? — И с силой пробивает наружу затык в горле: — Давай лучше двигать отсюда, а то как бы и нам с тобой тут не пришёл конец... Я наших знаю: раз стали бить из тяжёлых мортир и миномётов, то, значит, скоро сюда пойдут танки.

* * *

Комбат Довгало, щёлкая шариковой ручкой, не переставая, в возбуждённом подрагивании, рыскает пальцем свободной от щёлканья руки по разложенной на полу карте.

— А ну, посвятить мэни, хто-нэбудь, — требует у нескольких командиров рот и взводов, собравшихся в штабном подвале. — Зараз будэмо организовуваты оборону ливого края сэла. Насампэрэд, трэба прыкрыты вульци Громадську й Синну. Швядко пэрэвэзыть туды батарэю ЖАла, и щоб момэнтально уси гармáты булы готови до бою!

Один из названных командиров батареи ЖАло — подвижный Петро Жмаченко, крупнотелый и крупноносый, — гуркнув “Понял!”, выполняет из погреба на подрагивающую от орудийного беснования улицу.

Щёлкающей своей надоевшей всем шариковой ручкой Довгало переводит глаза на усевшихся в подвальный угол хирурга и оберегаемого им выздоравливающего узника. Борятьев немного отошёл в надёжно укреплённом пространстве, и к нему возвращается размеренное дыхание. В Ольховом же всё ещё спицей торчит парализовавшая его застылость.

— Айболыт, я тоби зараз даю машину з водилой, и вы дуетэ звидсы на восток, в глыбь наших зэмэль, подалыше вид Донэцкю. Зараз тут будэ зовсим мокро, сука, — машет вверх, в улицу. — Йидьте до Харцызська, а пóтим — на Торез, и ще дали, на схид. Там вам скажуть — куды.

Врач не хочет ничему верить, не хочет ничего слушать.

— Данилыч! Я пойду посмотрю. Может, Оксана всё-таки уцелела. Раненая там сейчас...

Довгало сжимается, запускает пальцы в бороду.

— Ты й сам розумиешь, що никого там нэ знайты. Пряма наводка. Писля “акации” ничего нэ зальшається. Так що нэ тягны час, збырайся йихаты.

— Но Голова... — начинается снова Ольховой.

— Ниякых “Голов”! Ты ж вийськóва людына. Шо, трэба тоби пояснюваты, що таке прыказ командыра? Так отó я нака́зую: эвакууваты цього полонэного. — Потом, будто Ольховой языку разучился, чтобы не было инотолкований, переходит на как бы русский: — Лично отвечаешь за этого пленного. Он для нас слишком драгоценный. Срочно на восток! И как можно дальше. У Донецьки ему оставаться нельзя. Они миллионный город мочить не перестанут. Для них взять Донецьк — шо войну вже выиграть.

И в ответ на стеклянные глаза Николая:

— Обещаю: лично, сам всё там потом облажу, на карачках, всё осмотрю. Если найду хоть шо-то от неё, то похороним, как подобает... А не найду... — так усё равно там камень ей поставим... Обицяю! Вона ж мэни, Оксанка, всэ óднэ як донька була.

Самый восток Донбасса. 3 октября 2014

В лобовом стекле “бобика” — уныние осенней замирающей степи разбавляют первые избы поселения. Ещё одного. Сколько таких деревень уже проехали за прошедшие сутки с молчаливым водителем!

На развилке трассы и подъезда к неизвестному поселению — длинная стена из озеленелого цемента. Ольховой соотносится с картой, лазит пальцем по склеенным изолентой отдельным листам: село Рассыпное.

В картах он не силен. Вот если б надо было порыться в анатомическом атласе...

По мере продвижения на восток Борятьев постепенно смурнел. Смурнел от понимания, что ещё больше удаляется от дома — когда он туда попадёт?!

И попадёт ли?.. Смурнел в унисон с природой за окном машины. Там совсем уж всё было давно невесело. Тяжёлый, как будто одолженный рассвет, да ещё и поздний.

Ночью, в слепую темноту, остановились, чтобы поспать. Спали недолго и некомфортно на своих сиденьях в машине. Лишь раненному Евгению было дозволено развалиться в двух задних сиденьях, выпростав гипсовую ногу. Стучало изредка дождём. Потом морозило. И снова морось. Из рощи, где-то, вероятно, вблизи, подкрадывались лесные шёпоты. Самой рощи не было видно. Кто-то там ползал, шуршал. Глужливо хохотали совы. Скрежетали ветви. Шлёпали по мокрым низинам их отвалившиеся мёртвые отростки, сбитые случайной струёй...

К утру перестало. Всё тот же холод.

От ветра всё быстро испарилось. Ползут вдоль трассы подсохшие листья, и ветер догоняет собравшийся к югу клин утиных эмигрантов. По обочинам торчат остатки трав из затвердевшего, как пряжка, дёрна. Небо сырое, насморочное. Погромыхивает за полем. Настораживающе, без дождя.

— Нам теперь на север надо, — говорит чирьеватый водитель, выделенный комбатом Довгало ещё под Донецком для эвакуации важного раненого. Водитель очень молод, очень молчалив, Николаю до этой поездки знаком не был. Из хозяйственной службы, кажется. Но автомат знает хорошо: видно по тому, как свойски его пристроил слева от себя, стволом вниз. — Ещё минут двадцать, и мы там, де треба.

Но двадцати минут история им не даёт. Происходит то, что так ненавидит любой водичий машину, и чего он боится, просыпаясь, если привиделось ему это во сне: двигатель щёлкает, астматически задыхается, машина ещё с три сотни метров проезжает рывками, ещё раз, последний, пытается дёрнуться и останавливается. На этот раз надолго. Пока не получит хотя бы глоток бензина.

— О-па... Кажись, приехали. Горючка кончилась. — Водитель раздражающе спокоен. Точно с ним такое происходит ежедневно.

А вот это уже проблема. Да ещё какая! Ольховой сердит.

— Ты что, байстрюк, раньше не видел, что у тебя паливо на нуле? — Он с силой распахивает свою дверь. — Ты в который раз за рулём? Второй, поди, в жизни?

Выходит. Свой автомат оставил на сиденье.

— Тебе не то, что машину — игрушку в яслях, пустышку нельзя доверить!

Тоскливо оглядывает безлюдные просторы — спереди и сзади.

— Ну, и что теперь делать прикажешь, хлопец дорогой? Ждать, когда кто-то проезжать будет? А если не отольют нам горючки! А если до вечера тут никто не проедет!..

Евгений ворочается, не снимая ноги с сиденья рядом.

Всё, что угодно, только не идти!

Водитель непонятно усмехается и, игнорируя вопросы хирурга, медленно берёт его автомат, будто хочет рассмотреть вблизи сослепу, и так же медленно отдаёт его в руки сидящему сзади пленному.

— А шо? Может так случиться, шо и не проедет тут никто, — выговаривает долго, невыразительно, доставая свой ствол и направляя на Ольхового. — Вы только, доктор, не дёргайтесь и дурью не майтесь. Двигайтесь постепенно, без фанатизму. И не подходите к машине. Тада вас никто не тронет.

Николай, стоя на замёрзшей за ночь, подбелённой инеем грунтовой дороге, и Евгений, получивший автомат, одинаково удивлённо смотрят на шофёра.

Не скочерыжился ли парень от этой войны?

— Ты чё это вдрут? — спрашивает у него с задних сидений Борятьев. Тем не менее, по выработанному порядку проверки оружие, отсоединяет и снова прилаживает магазин с патронами. — Чё задумал? — Потом делает предположение: — Не из наших ли будешь? Из украинских? Ты здесь чё, на задании, в натуре?

Водитель отвечает медленно, словно ему гантель на язык подвесили:

— Не... Я в ополчении торчал. Но теперь хочу до дому вернуться. И мне нужна ваша помощь.

— Моя? — всё ещё не понимает загипсованный.

— Да. Я прикидываю, шо вы — вэлький командыр в вашей армии. Так я помогу вам пробраться к своим, а вы за меня поручитесь. Я живу в Красноармейске, он сейчас под вашими.

Большой командир похмыкивает:

— А чего ж ты в ополчение это чесоточное пошёл, дубень?

Чирьеватый завздохнул громко:

— Та-а-а... Чего уж объяснять!.. — И, видя, что Ольховой всё-таки собирается вернуться к машине, излишне грозно предупреждает: — Я ж казав вам, доктор: стойте на месте. — Поднимает автомат для прицеливания.

И продолжает, снова спокойно, лишь слегка повернув лицо к своей надежде, сидящей сзади, наискосок:

— Девоньку я одну любил. Замуж звал. А она по весне пошла в ополчение. Уж больно не жаловала она всю вашу власть. А стреляла хорошо... Ну, и я за ней. Ну, шоб не потерять... Так она подорвалась на "противопехотке", установленной вашими у колодца, под Докучаевском, в самом конце лета. Жарко было в тот день. Пить она хотела... А мне теперь уйти из ополчения уже никак... Ваши пристрелят на первом же блокпосту.

Приходится Борятьеву соглашаться:

— Да, вполне могут, — он снова проверяет автомат. — Ну, ладно, если доберёмся до наших, скажу за тебя. В грудь себя буду бить, что спас ты меня. Из кровавых лап контрразведки просто-таки вырвал! — Разулыбался, довольный. — И ещё скажу, что тебя весной насильно, шантажируя родными, затащили в вашу банду. Обещали, что положат всю твою родню, если не пойдёшь воевать против украинской армии.

— А поверят? — осторожно сомневается водитель, неусыпно одним глазом держа Ольхового. — Разве кого-то насильно в ополчение Отпора стягивали?..

Раненный пленник, уже и не пленник вроде бы, обнадёживает:

— Поверят! У нас все знают, что только так ваше ополчение и собиралось... Ну, и я всё-таки в нашей армии — не отставной козы барабанщик. Если за тебя поручусь...

Отгалкивает свою дверцу, кряхтя, выволакивает обвязанную ногу, опираясь одновременно на прихваченную из-под Донецка ортопедическую палку и автомат Николая, прикладом в землю. Хитровато-добродушно зовёт:

— Идём, Кокос, вон туда, в заросли. Побазлаём немного. И опорожнимся заодно. — А шофёру сухо, уже приказными интонациями: — Ты же тут пока посидишь. Мне с врачом поговорить надо, наедине... И не бойсь, я кот учёный, наш доктор от меня не сбежит и автомат не отберёт. Я больше в плен не ходок... Так что сиди тут, жди, я через какое-то время вернусь. Может, через немалое время. Но всё равно жди... Если будут машины, попроси немного бензину.

Николай, в бешенстве запахиваясь на все пуговицы камуфляжного бушлата, засунув руки в карманы, идёт на Борятьева.

— Не, Кокос, двигай вперёд, передо мной, — одёргивает тот. — Так, чтобы только твоя спина была видна... И не быстро. А то я пока ставить рекорды в беге трусцой не могу, как тебе известно...

— Раскомандовался... Ну, и куда идти, сэр? — на ходу спрашивает Николай, прикрываясь от налетевшего режущего ветра.

— А вон там деревья какие-то, вроде, обрыв над рекой. Посидим там, потолкуем, ножки с обрыва свесим. Как в детстве, в Александровке. Помнишь?

Хирург беспечно шагает к деревьям, подняв ворот бушлата, отдав спину в распоряжение приятеля. Уточняет с весёлой злостью:

— О чём толковать хочешь? Не о высших ли сферах геостратегии?

Тот отвечает хирургу в тон:

— А как же! О них. О них самых. О независимости Украины. О полной независимости.

Николай говорит с нерадостным смехом:

— От кого независимости? От России или от Америки?

Перекидывание через сетку понг-понгового шарика фраз обрывается. Борятьев не отвечает, долго идёт, задумавшись. Потом оборванно, уже без прежнего шутовства, негромко, с оформившейся уверенностью говорит: "...от России".

* * *

Они проходят низкие и редкие посадки, ведущие к обрыву над рекой, — слишком редкие, чтобы именоваться лесом. Но они приемлемы для уединения.

Выходят на изглоданный течением обрыв. Внизу под ними грустно ползёт безымянная река, вся в пльвучем листопаде. Одна из тех речушек, которые они уже проезжали.

Евгений подходит к краю обрыва, без цели рассматривая течение.

— Ну и речка! Канализация сельская, а не речка. С нашим Днепром не сравнить. Правда, Коль?

Ольховой в отдалении пожимает одним плечом:

— Река как река... Ну, так что ты хотел мне поведать наедине, Жетон?

Тот опускается на границу земли и невысокой пропасти, нависающей над берегом, заросшей дикими и пригорюнившимися перед спячкой травами.

— Чё-то подустал я... Да садись ты, Кокос. Только — где стоишь. Ближе не надо... Садись. В ногах правды нет.

— "Но правды нет — и выше", — цитирует Ольховой.

— Старб, Коля... Но ты всё-таки сел бы. И прошу: не вздумай метаться. Я призёром по стрельбе всегда был. — Освобождённый пленник пристраивает автомат на колене, направляя в дружбана. — Дело идёт к тому, Коль, что нам с тобой расставаться пора. Так что уходи. Прошу: не дай грех на душу взять. Спасибо за всё, что ты для меня сделал за этот месяц с небольшим. Поверь, при всех моих недостатках, меня нельзя назвать неблагодарным скотом... Но раз ты, украинец, не хочешь за свою родину встать, то езжай к себе в Уфу или ещё куда, но только не трись здесь. Это моя страна, и здесь я буду жизнь налаживать.

Ольховой и не собирается слушать Жетона серьёзно. Этот-то, толстозадый, будет его наставлять! Этот, которого он учил правильно загребать руками и ногами, когда они переплывали Днепр от одного острова до другого! Этот, которому он позже рассказывал об "Инфанте" Веласкеса в столичном музее западноевропейской и восточной живописи! Может, ещё и выстрелит в учителя? А вдохновения хватит?

— Жетон, а если не уйду? Завалишь меня? — Смеётся обидно. — Ну, стреляй, стреляй!.. Что, скуксился? — И замедленно, с долгими интервалами: — Нет, не уйду, Жень. Не мечтай. Я буду воевать. Именно за родину, которую у меня хочет оттяпать ваш североамериканский меценат. Я её верну. — Выдохнул словившимся голосом: — Не могу я её оставить. Вы же крадёте! Мою тихую, мою обильную и сдержанную когда-то Украину, какой я её всегда знал. И я останусь здесь, чтобы её у меня окончательно не отобрали. Ни пиндосы, ни вуйки, ни вы, сведомые громадяне.

Борятьев нервно цепляется за спусковой крюк автомата. Рычит полусёпотом:

— Дурак ты, Кокос. Вроде ведь порядочный человек... А дурак... О чём ты? Не понимаешь, дурила, что той, тихой и забитой, совковой, несвободной Украины больше никогда не будет? А будет сильная, независимая от всех, соборная Киевская Русь, у которой твоя Раша ещё за честь считает быть в колониях... Метрополия, центр мира! Со святой Софией и златоглавыми храмами!

Но приятель беспощаден:

— Боже ж ты мой! Жетон, откуда такой звёздный размах?!.. Центр мира? С чего бы? С культуры, покорившей всю планету? Военной силы? Технологического превосходства? Вселенских денег?.. Ведь в сегодняшнем мире только грёбши что-то и способны решать, да и то — не всегда. Но теперь у Украины даже этого нет.

— Теперь, может, и нет, — лязгает Евгений зубами, как замками тюремной камеры. — Но обязательно всё будет.

— Откуда будет-то? Объясни, Жетон. — Ольховой в возбуждении выдыхает голос. — Почему ничего из этого не появилось за все годы после Союза? И откуда появится теперь?

— А вот появится. Поскольку теперь есть свобода. — Жетон непреклонен, уже заходит ором: — Мы теперь всё можем!

Николай прижимает обе ладони к горячей голове.

— Боже, вразуми вас всех! Да чем же вас опыляют? Тут поневоле поверишь в инфо-утечки, что последние лет сорок военный флот Штатов разрабатывает излучатели массового гипноза. И это тебе не телевизор. Эти волны пострашнее. Неужто до Украины дошёл черёд?.. Нет, не хочу верить... Чтоб вас, свидомитов, проказа скрутила! Надо ж было так страну уездить!

Борятьев, перегорев, вскидывает поджарое волчье тело автомата. Палец пружинит на спуске. Снова взрыв неукротимого приступа.

— Ну, так подыхай! И я тоже готов сдохнуть! А Украина будет великой! Будет, несмотря на всех врагов — и снаружи, и изнутри!

Разовый выстрел протыкает холодный и многотонный, как вечная мерзлота, воздух, сбрасывает с качнувшихся веток подорвавшуюся стаю, и чёрная рваная туча в вороньем иерихоне спешит в небо, подальше от этого места, где ещё не наигрались в стрелялки.

С северо-востока тянет острым приполярным ветром, низкие облака несутся оттуда, но всё никак не кончаются.

Евгений невидяще и неверяще смотрит сквозь закачавшуюся фигуру друга, которая валится набок, приминая осенний тёмный, траурный осот-породожник.

* * *

На гремящую смесь звуков прибегает дезертир-водитель с автоматом.

Борятьев отворачивается: не хочет убеждаться в том, что кто-то мёртв. Или ещё жив. Или не совсем... Не хочет снова смотреть туда, куда направлял шальной глаз дула — в ломающиеся к зиме, чёрствые стебли.

Что свершилось, то свершилось. Если кто-то умер, так умер. Выжил — значит, так лёг расклад!

Водитель молча стоит, не смея ничего спросить. Так и стоял бы, если б не закоченелый, надорванный, спрашивающий голос отходящего от ранения великана:

— А что это за река тут внизу? Не знаешь?

Юный дезертир опускает автомат — держал наготове.

— Река называется Миус, — водитель лениво озирается во все направления. — Там за ней, на том берегу — уже Луганщина считается.

Запустение пейзажа гнетёт. К нему нужно привыкать: к неизменяемости, к нависшим, как судьба, облакам, к дикому вороньему “кра-а-а-аааа“, к шевелящейся и шуршащей на ветру траве. Время года — самое покойническое...

— Луганская область? Ещё один нарыв... Ну, ничего, и это вылечим, — Борятьев встаёт, подтягивая ногу, опираясь на палку и автомат, распрямляется. — Ну что, были автомобили? Удалось бензином разжиться?

Парень поводит-покачивает головой в обе стороны — как стрелкой метронома.

— Та не... Ни одна сука не проехала за это время.

Многоногий пешеход неслаженно перебирает всеми опорами, намереваясь пройти вдоль речного русла влево.

— Значит, нужно идти пешком, к нашим. Значит, будем двигаться. Потом какую-нибудь частную машину стопанём. Хорошо бы, чтоб с одним только шоферюгой, без пассажиров. Сунем шефу ствол в нос, завяжем руки, кинем на пол сзади, и побыстрее отсюда мотать туда, на запад. Хоть бы к вечеру успеть...

Оба сползают медленно с холма, всё так же вдоль шелудивого берега.

Задувает ветром. Стали капать первые предвестники большого дождя. Гнев грома уже рядом.

* * *

Ближе к дороге, из всё ещё густолистой осинової заросли на них выходят четверо. Все в камуфляже. С автоматами вперёд. На рукавах нашивки — “Новороссия”.

— Это не вы тут шалили, стреляльщики? Всех деток и курят нам распугали, — спрашивают, с пристрастием глядя в глаза. — Куды путь держим, граждане прохожие? Кто такие?

Шофёр сереет чирьеватыми щеками. Борятьев хочет вскинуть свой автомат, но успевает просчитать: не удастся, они выстрелят первыми...

— Из харцызского отдельного батальона Семёна Даниловича Довгало. — Юнец, только что живший видами на близкий дембель, опрометью возвращается к сольной партии завязанного ополченца. — Вот, конвоирую пленного, как и приказано, в Четвёртый резервный полк Отпора. Он ранен. Можете перепроверить, свяжитесь с нашим комбатом.

— Пленного? — вперёд выходит один из четверых, приземистый и жизнерадостный. Улыбается счастливо, как в детском саду. — А шо у тебя пленный при оружии разгуливает? Та ещё зраненный... Не-е, шо-то не то тут, хлопцы... А ну, пленный, брось-ка свой калибр, а то я человек небравновешенный. Ещё как пальну... И ты, конвоир, свою дудку тож брось. Мы подыдем. И вперёд просим. Сюды, по тропке. Потопали, панóве. У нас и машина имеется. Разберёмся. Мы и есть Четвёртый резервный в Отпоре.

Мало кому заметным поворотом Борятьев оглядывается, смотрит назад, на взгорок, прежде чем начать спотыкаться по начертанному ему пути. Коля Ольховой, лежащий на обрыве лицом к воде, хотя ещё и заметен, но уже едва. Краешек плеча над травой, бугор локтя. Далеко, мелко.

— Да иду я, иду, — недовольно отсылает за спину, в которую стучится поторапливающий ствол. — Вы ж видите, что я сегодня не спринтер и даже не стайер.